

[persona
GRATA]



ВИТГЕНШТЕЙН

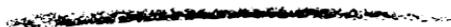
ФРАНСУА ШМИТЦ

РИПОЛ
КЛАССИК

[persona
GRATA]

FRANÇOIS SCHMITZ

WITTGENSTEIN



ФРАНСУА ШМИТЦ

ВИТГЕНШТЕЙН



Группа Компаний РИПОЛ классик

П А Н Г Л О С С

Москва
2 0 1 9

УДК 82-94
ББК 87.3
Ш73

*Перевела с французского Наталья Баландина
Научная редакция Валерии Земсковой*

Published by arrangement with Lester Literary Agency

Шмитц Ф.

Ш73 Витгенштейн / Франсуа Шмитц ; [пер. с фр. Н. Баландиной]. — М. : Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс», 2019. — 256 с. — (Серия «Persona Grata»).

ISBN 978-5-386-12578-3

В наши дни имя австрийского философа Людвиг Витгенштейна (1889–1951) широко известно как в среде академиков, так и далеко за пределами научного мира. О нем могут иметь представление совершенно не знакомые с его философией люди, его имя обросло множеством легенд и баек. В то же время Витгенштейн явился вдохновителем таких ведущих направлений современной мысли, как аналитическая философия и философия языка, притом что его собственные оригинальные изыскания выходят за пределы любых направлений и школ.

Настоящий биографический очерк емко повествует об основных вехах творческого пути великого австрийца, особо останавливаясь на разборе его самого известного произведения, «Логико-философского трактата».

**УДК 82-94
ББК 87.3**

© Editions des Belles Lettres, Paris 1999
© Баландина Н. В., перевод на русский язык, редакция, 2019
© Издание на русском языке, оформление.
ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2019

ISBN 978-5-386-12578-3

Хронология событий

1889: 26 апреля в Вене рождается Людвиг Витгенштейн, последний из восьми детей Карла Витгенштейна и Леопольдины Кальмус. Между прочим, в том же году родились философ Мартин Хайдеггер и диктатор Адольф Гитлер.

1889–1903: роскошь, безмятежность, наслаждение (и музыка) во «Дворце Витгенштейнов».

1897: Густав Климт основывает движение «Сецессион». Карл Витгенштейн финансирует строительство «Дома сецессиона» в Вене.

1899: начинает выходить журнал Die Fackel («Факел»), в котором до 1936 года публиковал свои работы Карл Краус. У Витгенштейнов имелась полная коллекция номеров этого сатирического издания.

1903: Кончает жизнь самоубийством еврей-антисемит Отто Вейнингер, автор книги «Пол и характер». Бертран Рассел публикует работу «Основания математики».

1903–1906: Витгенштейн учится в реальном училище в Линце.

1906–1908: Витгенштейн обучается на инженера-механика в Высшей технической школе в Берлине. Пробуждение интереса к философии.

1908–1911: Людвиг — студент-исследователь в Манчестерском университете в Англии. Он занимается авиационной инженерией и интересуется проблемой принципов математики, читает «Основания математики» Бертрانا Рассела и «Новоположения арифметики» Готлоба Фреге.

1911: летом Витгенштейн едет к Готлобу Фреге, который советует ему обратиться к Расселу.

1911–1913: Витгенштейн — ученик Рассела в Кембридже. Первые работы по логике («Заметки по логике»).

1913: в январе умирает Карл Витгенштейн, отец Людвига.

1913–1914: Витгенштейн живет в Норвегии («Заметки, продиктованные Муру», апрель 1914 года).

1914: в июле Витгенштейн посылает крупную сумму денег издателю Людвигу фон Фикеру для распределения между нуждающимися деятелями культуры (Райнер Мария Рильке, Георг Тракль и др.). Конец июля — начало августа: объявление войны (Сербия, Россия). 7 августа Людвиг идет добровольцем в австрийскую армию. С августа по ноябрь он курсирует по Висле на корабле «Гоплана».

1914–1916: Витгенштейн работает в артиллерийской мастерской.

1916, весна-лето: Брусиловский прорыв на Русском фронте.

1917–1918: наступление Керенского на Русском фронте.

1918: весной Витгенштейн воюет на Итальянском фронте. Летом, находясь в увольнении, заканчивает «Трактат».

1918–1919: возвращение на Итальянский фронт. Людвиг попадает в плен в начале ноября 1919 года. В лагерях для военнопленных в Комо и в Кассино он знакомится с учителем Людвигом Гензелем и решает пойти работать в начальную школу.

1919: в августе Витгенштейн возвращается в Вену и совершает «финансовое самоубийство», отказавшись от наследства в пользу своих братьев и сестер.

1919–1920: Людвиг посещает курсы учителей начальных классов, живет отдельно от семьи. Он находится в тяжелом психологическом состоянии.

1920: летом Витгенштейн работает садовником в монастыре близ Вены.

1920–1926: Людвиг — учитель начальных классов в Нижней Австрии.

1922: весной Витгенштейн принимает в гостях Фрэнка Рамсея, летом — Бертрана Рассела. «Трактат» опубликован в Великобритании.

1923: начало встреч, организованных Морицем Шликом. Зарождение «Венского кружка» (1928 год).

1926: весной-летом Витгенштейн вновь работает садовником в монастыре.

1926–1929: Витгенштейн возвращается в Вену, участвует в строительстве дома своей сестры Маргарет.

1927: Витгенштейн знакомится с Морицем Шликом. Первые встречи с некоторыми членами «Венского кружка».

1928: доклад Лёйтзена Брауэра в Вене (март). Витгенштейн возвращается к занятиям философией.

1929–1936: Витгенштейн преподает в Кембридже.

1929–1930: работает над «Философскими заметками». В июне 1930 года «Трактат» приносит ему степень доктора философии. В конце 1930 года Витгенштейн получает исследовательскую стипендию.

1931–1934: Витгенштейн пишет работу, которая будет частично издана под названием «Философская грамматика».

1933–1934: «Голубая книга».

1934: приход Энгельберта Дольфуса к власти в Австрии. Преследование австрийских левых. «Венский кружок», часть членов которого придерживалась левых взглядов, начинает распадаться вследствие этих гонений.

1934–1935: «Коричневая книга». Витгенштейн учит русский язык и в сентябре 1935 отправляется на десять дней в СССР, чтобы найти там себе работу, связанную с физическим трудом.

1936–1937: Витгенштейн, находясь в Норвегии, пишет первые страницы будущих «Философских исследований».

1938: Витгенштейн с тревогой следит из Дублина за аншлюсом (февраль-март).

1938–1941: Витгенштейн возвращается к преподаванию в Кембридже.

1939: в феврале Витгенштейна избирают на должность профессора философии на место Джорджа Эдварда Мура. В июне Витгенштейн получает гражданство Великобритании.

1941–1944: работает в аптеке лондонской больницы Гая сначала сторожем, затем помощником фармацевта и, наконец, устраивается лаборантом в медицинскую лабораторию в Ньюкасле.

1944: находясь в Суонси (Уэльс), Витгенштейн пытается закончить «свою» книгу.

1944–1947: возвращается к преподаванию в Кембридже.

1948–1949: Витгенштейн проводит большую часть времени в Ирландии и по-прежнему не может закончить «свою» книгу.

1949: Витгенштейн проводит лето в США. В ноябре у него диагностирован рак простаты.

1950: гостит у родственников в Вене. В феврале умирает его старшая сестра Гермина.

1950–1951: Витгенштейн, самочувствие которого ухудшается, живет то у одного своего бывшего ученика, то у другого. Осенью совершает короткую поездку в Норвегию, а в феврале 1951 года поселяется в доме у своего врача.

1951: Витгенштейн умирает в Кембридже 29 апреля в возрасте 62 лет.

1953: посмертная публикация «Философских исследований».

Предисловие

Еще недавно имя Витгенштейна во Франции было знакомо лишь весьма узкому кругу лиц, причастных к философии. Но сегодня дело обстоит иначе. Количество «профессиональных» философов, признающих ценность его воззрений, постоянно растет, а книжный рынок ежегодно пополняется новыми изданиями, посвященными этой фигуре. Жак Бувресс, который более других способствовал распространению витгенштейновской философии во Франции, в настоящее время является профессором Коллеж де Франс и занимает видное место в ареопаге великих мыслителей, снискавших всеобщий почет и уважение. Таким образом, Витгенштейн стал в один ряд с теми, на кого вполне уместно ссылаться в философских работах.

Однако в наши дни имя Витгенштейна известно далеко за пределами научного мира. О нем могут иметь представление совершенно не знакомые с его философией люди: возможно, кто-то из них узнал из «известной вечерней газеты» или женского журнала о том, что из-за Витгенштейна у Гитлера возникла патологическая ненависть к евреям, или что в 1930-е годы он яко-

бы выполнял роль вербовщика для сталинского СССР наряду со шпионами из Кембриджа (Филби, Блант и др.). Кто-то посмотрел фильм, в котором Витгенштейн предстает в образе гея, или (если владеет английским языком) прочитал роман Д. Чарина, повествующий о жизни Витгенштейна-учителя в Калифорнии, а может, и короткий рассказ Т. Бернхарда, в коем племянник Витгенштейна вспоминает о своем дяде-философе, и т. д.

Витгенштейн превратился в чудаковатого персонажа, о котором рассказывают всякого рода небылицы и которому приписывают странное поведение и манеры. Иногда его представляют мудрецом в том значении, которое древние вкладывали в это слово, но такой мудрец, как правило, отличается склонностью к экстравагантным поступкам, выделяющей его среди прочих людей: он вызывает у окружающих либо насмешки, либо глубокое уважение. Короче говоря, человек в Витгенштейне затмил философа.

И вправду, жизнь Витгенштейна полна любопытных фактов.

Людвиг Витгенштейн был младшим сыном одного из богатейших сталелитейных магнатов Европы конца XIX века, в доме которого собирались лучшие представители искусства той поры. Унаследовав часть огромного состояния, Витген-

штейн отдал ее сестрам и брату. Несмотря на то что в 1913 году Людвиг был освобожден от военной службы, во время Первой мировой войны он пошел добровольцем в австрийскую армию и, сражаясь на Русском фронте, в полной мере изведal всю тяжесть этого бессмысленного военного конфликта. Показав блестящие результаты в учебе в Кембридже, работая с одним из величайших умов своей эпохи, Бертраном Расселом, относившимся к нему с восхищением, в начале двадцатых годов Витгенштейн перебирается учительствовать в австрийскую глубинку, затем на несколько месяцев устраивается садовником в монастырь и, наконец, совместно с архитектором принимает участие в строительстве дома для одной из своих сестер. Впоследствии Витгенштейн возвращается в Кембридж в качестве профессора, однако, не имея никакой любви к традиционной методике преподавания, спустя некоторое время нанимается охранником в одну из лондонских больниц, а затем, со вступлением Великобритании во Вторую мировую войну, становится лаборантом.

Но это еще не все. Среди бумаг, оставшихся после смерти Витгенштейна, были обнаружены дневники, в которых он записывал с помощью тайного кода размышления личного характера. Таким образом стало известно, что его тяготили собственные гомосексуальные наклонности и преследовало навязчивое чувство вины. Душе-

приказчики Витгенштейна в целях защиты его репутации долгое время не предавали содержание этих дневниковых записей широкой огласке и тем самым спровоцировали появление всевозможных слухов.

Положение Витгенштейна в философской среде также было двойственным. Он ничего не опубликовал, кроме принесшей ему известность первой работы с причудливым названием «Логико-философский трактат» (1921 год), поэтому отрывочные сведения о тех новых, оригинальных идеях, которые он развивал в 1930–1940-е года, мы черпаем лишь из его лекций, представлявших собой, по словам очевидцев, сеансы размышления вслух, сопровождавшиеся многочисленными паузами, и устных рассказов его бывших студентов. Все это привело к тому, что вокруг витгенштейновской философии образовался ореол таинственности, поддерживаемый благочестивым усердием его учеников. Что же такого особенного он говорил?

Однако давайте проявим здравомыслие и поостережемся делать из Витгенштейна советского шпиона! Если он и в самом деле им был, то сей факт наводит на размышления не столько о Витгенштейне, сколько об изъянах нашей эпохи, к которой он, по его собственному признанию, не испытывал «никакой симпатии»¹.

¹ *Wittgenstein L. Remarques Philosophiques, préface* (trad. J. Fauve, Paris: Gallimard, 1975).

И тем не менее вышеупомянутый ореол таинственности возник в основном по причине того, что судьба творческого наследия Витгенштейна сложилась парадоксальным образом. Необходимо в полной мере осознать присущую ему неоднозначность, прежде чем переходить к самому главному.

Как известно, Витгенштейн был австрийцем, пропитанным духом Вены начала XX столетия — Вены Шницлера, Крауса, Музиля. На его глазах движение «Сецессион», додекафонная музыка Шёнберга и психоанализ Фрейда восставали против буржуазной напыщенности. Сам Витгенштейн в молодости читал Шопенгауэра и О. Вейнингера.

Тем не менее философский талант Витгенштейна раскрылся не на родине, а в Великобритании — в кембриджской интеллектуальной среде, которая разительно отличалась от венской. В Кембридже Витгенштейн оказался в одном ряду с великими реформаторами логики: Расселом и его *alter ego* из Германии Фреге. Вначале философия Витгенштейна воспринималась в качестве одного из искусных способов решения философских проблем, поставленных этой революцией в области логики; именно так «Трактат» и последующие витгенштейновские идеи долгое время рассматривались в англосаксон-

ских странах. Тем, кто не имел понятия о новой логике и о ее влиянии на философию, Витгенштейн казался труднодостижимым философологом, оторванным от куда более значительных вопросов, которые заботили, к примеру, немецких философов и их французских эпигонов. Поэтому в 1950–70-е годы его работы исследовались и снабжались комментариями преимущественно в англосаксонских странах, на основании чего были отнесены к так называемой аналитической философии, которая занимается главным образом философией языка и философией науки.

Разумеется, при этом упускалось из виду, что Витгенштейн привез с собой в Кембридж проблемы, волновавшие уходящую Австрию и особенно Вену. По большей части это были этические проблемы, которые находили у Витгенштейна внутренний отклик. Временами они проступают в его сочинениях — особенно в личных дневниках, — но не становятся предметом систематической философской разработки (по важным причинам, о которых будет сказано позже) и потому на первый взгляд могут показаться второстепенными. Однако по мере обнародования этих рукописей и дневников становилось все более очевидным, что у работ Витгенштейна существует некое подобие изнанки, которая как бы отсылает к его мятущейся личности. На существование этой «изнанки»

указывает сам Витгенштейн в письме к издателю, которому он послал рукопись «Трактата»:

*«[В предисловии] я хотел написать, что моя работа состоит из двух частей: к первой из них, представленной здесь, нужно добавить все то, что я **не** написал. Именно эта часть является самой важной. Моя книга очерчивает границы Этики, так сказать, изнутри... В общем, думаю, что, смолчав, я повторил то, о чем сегодня **многие** без толку говорят».*

Эта скрытая часть творчества Витгенштейна нашла свое воплощение в его собственной жизни, которая, казалось, была подчинена постоянному стремлению убежать от притворства и лжи — от всего того, что походит на интеллектуальную и моральную нечестность. Создается впечатление, что Витгенштейн находился в беспрепятственном поиске некоей моральной (и понятийной) ясности, тщетность которого была обусловлена неотступно преследовавшим его чувством неудовлетворенности собой. Если прибавить к этому убежденность Витгенштейна в том, что о подобных вещах невозможно говорить осмысленно, то неудивительно, что такое множество биографов подчас с подозрительным удовольствием изучают его жизнь, как нельзя лучше являющую собой часть его философии.

Таким образом, становится понятно, отчего образ Витгенштейна оказался столь запутанным: с одной стороны, мы имеем дело со строгостью мысли, погруженной в проблемы, которые многие философы, особенно во Франции, постигают с трудом. С другой стороны — перед нами *персонаж*, жизнь которого была необычной, а личность — загадочной. Биографические данные приведены в книге лишь с целью познакомить читателя с некоторыми фактами, которые, будем надеяться, позволят удовлетворить его, безусловно, законное любопытство и помогут отличить правдивые истории о Витгенштейне от вымышленных.

I

**«ПЕРЕДАЙ ИМ,
ЧТО У МЕНЯ
БЫЛА
ПРЕКРАСНАЯ
ЖИЗНЬ»**

(Предсмертные слова Витгенштейна)

Людвиг Витгенштейн родился 26 апреля 1889 года в Вене. Его прадедушка по отцу, Моисей Майер Витгенштейн, служивший управляющим в имении у графов Сайн-Витгенштейнов, по-видимому, взял фамилию Витгенштейн после выхода в 1808 году указа Жерома Бонапарта, который обязывал евреев обзавестись фамилиями, так что аристократы Витгенштейны и предки Людвига, о которых пойдет речь далее, не состояли в родстве друг с другом. Моисей Майер Витгенштейн поселился в начале XIX века в Корбахе (в немецкой земле Гессен, на сотню километров севернее Франкфурта), и именно в этом городе в 1802 году родился Герман Витгенштейн, дедушка Людвига. Герман обратился в протестантство, вероятно, перед женитьбой в 1839 году (на Фанни Фигдор, которая происходила из семьи богатых венских евреев и также приняла протестантство в 1838 году). Он был успешным предпринимателем, сделавшим состояние на торговле шерстью: покупая шерсть в Центральной Европе, он перепродавал ее в Нидерландах и Великобритании. Прожив около десяти лет в Лейпциге, пара переехала в Вену. У них было десять детей, в том

числе Карл (шестой по счету ребенок, родившийся в 1847 году), отец Людвига. Все их дети много добились и пользовались уважением в венском высшем обществе.

Жизнь Карла складывалась не так, как у его братьев и сестер. В 18 лет, вероятно не желая получать образование, на котором настаивал его отец, он убежал со скрипкой и 200 флоринами в кармане в США, где зарабатывал себе на жизнь посильным трудом. Через два года Карл возвратился на родину, преисполненный восхищения перед американской деловитостью. Выучившись на инженера и проработав несколько лет в этой профессии, он занялся предпринимательством и за несколько лет построил огромную металлургическую империю, сделавшую его австро-венгерским Круппом. Он собрал значительное состояние и отошел от дел в 1898–1899 годах. А в 1913 году скончался от рака.

Дом Витгенштейнов в Вене, прозванный «Дворцом Витгенштейнов», был центром светской и в особенности музыкальной жизни города: супруга Карла, Леопольдина Кальмус, была великолепной пианисткой. Музыка постоянно звучала во «Дворце», составляя неотъемлемую часть жизни детей, в первую очередь — Людвига. Во «Дворце Витгенштейнов» часто можно было встретить старого Брамса и молодого Пабло Казальса — Карл был покровителем движения «Сецессион», и именно благодаря его фи-

нансовой поддержке в Вене был построен «Дом сецессиона».

Людвиг был младшим из восьми детей (трех девочек и пятерых мальчиков) Леопольдины и Карла — «младшенький», обладавший слабым здоровьем. До четырнадцати лет он практически не покидал стен родного дома, поскольку, как и его братья и сестры, занимался с частными преподавателями. Этот способ обучения, по всей видимости, оказался не слишком эффективным: по словам Пауля, двое младших сыновей Карла — сам Пауль и Людвиг — не приобрели особых знаний, вследствие чего было решено отправить их в нормальные учебные заведения. У Людвига довольно рано проявились способности к механике: рассказывают, что примерно в десятилетнем возрасте он смастерил уменьшенную копию домашней швейной машинки, чем вызвал всеобщее восхищение.

Властность Карла, которой почти не могла противостоять мягкая по характеру Леопольдина, порой приводила к печальным последствиям: в 1902 году их старший сын Ганс, музыкант в душе, взбунтовался против воли Карла, не пожелав заниматься семейным бизнесом, и уехал в США (как и сам Карл тридцатью семью годами ранее), где покончил с собой. Третий сын, Рудольф, в 1903 году по схожим причинам уехал в Берлин и совершил там самоубийство в мае 1904 года. Позднее, в 1918 году, в конце Первой мировой

войны, третий брат Людвига, Курт, тоже наложил на себя руки, по всей видимости от стыда за то, что не смог повести своих солдат в бой с итальянской армией.

Похоже, первые два самоубийства, а также посредственная успеваемость двух «младшеньких», привели к тому, что Карл изменил свое поведение по отношению к ним. Так, в 1903 году Людвига отправили в реальное училище города Линца, где он провел три года, не показав особых успехов в учебе. Это были непростые для Людвига годы: внезапно перемещенный из «Дворца Витгенштейнов» в совершенно чуждую ему среду, он так и не свыкся с невежеством его товарищей. Девятью годами позже Витгенштейн назовет поступление в училище началом очень сложного жизненного периода, когда его неотступно преследовали мысли о самоубийстве. В качестве исторического курьеза упомянем, что это же училище посещал Гитлер, который покинул его, проучившись вместе с Витгенштейном в течение года. Несмотря на одинаковый возраст, они учились в разных классах, поскольку Гитлер, видимо, на год отставал от ровесников, а Витгенштейн на год их опережал (именно это стечение обстоятельств легло в основу упомянутого в предисловии прескучного романа, в котором Витгенштейн предстает, в частности, в неправдоподобном образе виновника болезненного антисемитизма Гитлера!).

Окончив обучение в Линце со средним результатом, осенью 1906 года Витгенштейн отправился в Берлин учиться на инженера-механика в Высшей технической школе Шарлоттенбурга. Он получил диплом инженера в мае 1908 года. О двух годах, проведенных им в Берлине, известно немного. Витгенштейн жил у некоего профессора Жоля, который, по всей видимости, относился к нему с теплотой. Судя по дневниковым заметкам философского характера, в ту пору Витгенштейна интересовало не только инженерное дело.

В конце своего пребывания в Берлине, весной 1908 года, он отправился в Манчестер в качестве студента-исследователя на технический факультет местного университета; его работы касались авиации. Под влиянием профессоров математики, занимавшихся основаниями математики, Витгенштейн с первых месяцев пребывания в Манчестере погрузился в чтение «Оснований математики» — первого фундаментального труда Бертрانا Рассела на эту тему, опубликованного в 1903 году, а также «Оснований арифметики» — работы немецкого математика и логика Готлоба Фреге, опубликованной в 1893 и 1902 годах, которая посвящена этому же вопросу. Витгенштейн заинтересовался проблемами, вызванными открытием парадоксов, которые в то время будоражили философско-математические круги. Незадолго до начала апреля

1909 года, посчитав, что нашел решение, Витгенштейн послал его Филиппу Журдену, коллеге и другу Рассела. Однако оно было отвергнуто как Журденом, так и Расселом.

Потерпев неудачу, Витгенштейн сосредоточился в 1909/10 и 1910/11 учебных годах на своих изысканиях в области аэронавтики, результатом которых стал проект авиационного двигателя, запатентованный им в августе 1911 года. Этот двигатель впоследствии оказался непригодным для использования в самолетах, однако принцип его работы был заимствован при создании вертолетных двигателей во время Второй мировой войны, а также в послевоенную эпоху. Параллельно с этим Витгенштейн продолжал развивать философские идеи и весной 1911 года составил план философской работы. По свидетельству его сестры Гермины, все эти годы он внутренне разрывался между двумя призваниями — инженера и философа.

Летом 1911 года Витгенштейн съездил к Фреге в Йену. Следуя его совету, он не вернулся в Манчестерский университет, а осенью того же года отправился в Кембридж. Он приехал туда спустя две недели после начала занятий, 18 октября явился к Расселу и на следующий день приступил к учебе. Вот как рассказывает Рассел о Витгенштейне своей подруге леди Оттолайн Моррелл в письме от 19 октября:

«Мой немецкий друг может оказаться сущим наказанием, он проводил меня после занятия, и мы проговорили до ужина — одержим и порочен, но вроде не идиот».

Витгенштейн должен был провести два года в Кембридже рядом с Расселом, который вскоре высоко оценил его интеллектуальные способности. Спустя несколько недель после приезда в Кембридж Витгенштейн спросил у Рассела, не кажется ли ему, что он, Витгенштейн, может сделать что-то стоящее в области философии. Тот, с большим интересом прочитав его первую небольшую работу, в январе 1912 года дал Витгенштейну положительный ответ. В итоге Витгенштейн забросил свои исследования в области авиации и полностью отдался философии. Этот шаг положил конец тревогам и суицидальным мыслям, преследовавшим его в течение девяти лет. Вскоре Рассел увидел в нем ученика, способного вывести на новый уровень вопросы, затронутые Расселом во втором томе «Оснований математики» (1910 год), который был продолжением книги, изданной в 1903 году.

В течение этих двух лет их связывали одновременно дружеские и напряженные отношения, которые закончились плачевно в силу полного несходства их характеров. В октябре 1913 года, продиктовав Расселу первый итог своих раз-

мышлений о логике (изданных впоследствии под названием «Заметки по логике»), Витгенштейн пришел к выводу, что не может нормально работать в Кембридже, поскольку ему требуется спокойствие и уединение. Осенью он уехал в Норвегию и поселился в Скъолдене — деревушке, расположенной на краю фьорда севернее Бергена. Он прожил там до конца весны 1914 года в небольшом домике, который построил сам в стороне от края фьорда. В феврале 1914 года Витгенштейн послал Расселу письмо с намерением сообщить о разрыве их отношений. Несмотря на то что они продолжали переписываться, а после Первой мировой войны и видеться, их взаимоотношения претерпели изменения — они не были больше ни теплыми, ни конфликтными, какими были до осени 1913 года.

В январе 1913 года скончался отец Витгенштейна. По возвращении в Вену в июле 1914 года Витгенштейн попросил Людвиг фон Фикера — издателя литературного журнала из Инсбрука — передать круглую сумму денег нуждающимся деятелям искусства. В 1910-е года фон Фикер приобрел прекрасную репутацию, став представителем немецкоязычного авангарда. Он распределил большую часть из 100 000 крон, доверенных ему Витгенштейном, между Райнером Марией Рильке, Георгом Траклем и Карлом Даллаго.

Застигнутый войной в Вене, 7 августа Витгенштейн записался добровольцем в австрий-

скую армию (годом ранее он был признан негодным к военной службе). До начала ноября 1914 года он плавал по Висле вдали от зоны боевых действий на корабле «Гоплана», захваченном у русской армии. Именно в эти месяцы, проведенные среди солдат, которые — как и его товарищи по училищу в Линце одиннадцатью годами ранее — вызывали у него глубокую неприязнь, ему довелось прочитать «Краткое изложение Евангелия» Льва Толстого — единственную книгу, которую он нашел в книжном магазине во время стоянки судна. Благодаря этому произведению, произведшему на него глубокое впечатление, он смог преодолеть упадок духа.

В это же время его брат Пауль в результате ранения потерял правую руку. Это событие чуть не поставило крест на его карьере пианиста. Однако с помощью упражнений ему удалось после войны продолжить выступать, играя лишь одной левой рукой, и преподавать. Именно для него Равель сочинил «Концерт для левой руки».

В ноябре 1914 года Витгенштейн находился в Кракове. Он пробыл там вплоть до лета 1915 года, работая в артиллерийской мастерской, в которой оказался востребованным его инженерный талант. В августе 1915 года он пробыл три недели в Вене, а затем был переведен в Сокаль, на север от Лемберга, где провел осень и зиму 1915–1916 годов.

По его просьбе в марте 1916 года он был в конце концов направлен в часть, ведущую бои на Русском фронте. В марте и апреле практически не наблюдалось активных сражений, но все изменилось в июне с началом Брусиловского прорыва обороны австро-германской армии. Витгенштейн проявил завидное мужество в бою: его представили к награде, а затем произвели в капралы. Когда в конце августа наступление русских войск замедлилось, его отправили в штаб полка в Ольмюц для прохождения обучения в офицерской школе. Эти месяцы яростных сражений и ежедневного столкновения со смертью, безусловно, поменяли ход его мыслей: витгенштейновские дневники свидетельствуют о том, что именно тогда он наметил основные линии содержащихся в конце «Трактата» рассуждений о смысле мира, который, по его мнению, должен находиться вне мира.

Несколько осенних месяцев 1916 года, проведенных Витгенштейном в Ольмюце, были довольно счастливыми: он познакомился с Паулем Энгельманом, молодым архитектором, учеником Адальфа Лооса, вместе с которым несколькими годами позже Витгенштейн спроектировал дом для своей сестры. Эта встреча позволила ему ненадолго вырваться из военной среды.

1917 год Витгенштейн встретил на Русском фронте, где зимой установилось относительно затишье после Февральской революции в Рос-

сии, однако в июле, когда Керенский захотел возобновить военные действия, боевая активность стала возрастать. В ходе победоносного контрнаступления центральных держав в августе 1917 года Витгенштейн добрался до города Черновцы, расположенного на территории современной Украины. Его полк простоял там до подписания Брест-Литовского мирного договора, то есть до марта 1918 года. Витгенштейн вновь был награжден за отвагу, проявленную при наступлении Керенского.

Воспользовавшись отсутствием военных действий, той зимой Витгенштейн закончил первую редакцию того, что несколькими месяцами позднее станет «Logische Philosophische Abhandlung» — работой, более известной под латинским названием «Tractatus Logico-Philosophicus», которое для издания на английском языке предложил в Кембридже Мур, друг Рассела и Витгенштейна.

Отправленный на Итальянский фронт в марте 1918 года, Витгенштейн участвовал в неудачном наступлении австрийской армии в июне, где в очередной раз отличился храбростью. После июльского отступления австрийцев он получил долгосрочное увольнение, которое провел у своего дяди Пауля. Именно в это время Витгенштейн поставил финальную точку в своем трактате. В сентябре он приступил к поискам издателя, но то и дело сталкивался с нерешительностью и от-

казами, которые переживал очень тяжело. Наконец в 1921 году вышло первое издание его работы на немецком языке, где содержалось много неточностей, в отличие от издания на английском языке, появившемся в 1922 году.

Витгенштейн вернулся на фронт в конце сентября, а уже в начале ноября попал в плен во время последнего наступления итальянской армии. Вначале его содержали в лагере в Комо, затем, в январе 1911 года, перевезли в лагерь в Кассино, севернее Неаполя, где он должен был находиться до августа того же года. В этих лагерях для военнопленных Витгенштейн познакомился со скульптором Михаэлем Дробилем и Людвигом Гензелем — учителем, страстно увлеченном своей профессией, и приверженцем старых добрых католических устоев. Именно под его влиянием Витгенштейн решил стать учителем начальных классов, хотя до того момента, казалось, его влекло монашество.

По возвращении в Вену в конце августа 1919 года Витгенштейн отдал полученное от отца наследство сестрам и брату, тем самым совершив, по словам близких, финансовое самоубийство. Аналогичным образом он поступил и в 1926 году после смерти матери. Отказ от значительного состояния впоследствии сыграл ключевую роль в создании «благочестивого» образа Витгенштейна. Вероятно, им двигало желание обрести независимость от семьи и само-

стоятельно состояться в жизни. С той же целью он покинул родительский дом и поселился отдельно.

В 1919–1920 годах Витгенштейн посещал курсы учителей начальных классов. Эти первые послевоенные годы, несомненно, были очень тяжелыми для него: он чувствовал себя потерянным и несчастным. Завершив обучение на учителя начальных классов, устроился на все лето 1920 года садовником в монастырь около Вены, надеясь, что утомление поможет ему отвлечься от переживаний.

Итак, в течение последующих шести лет Витгенштейн учительствовал в Нижней Австрии — по два года в Траттенбахе, Пухберге и Оттерале. В этих деревушках царила послевоенная бедность, а их жители внушали Витгенштейну чувство неприязни. Те, в свою очередь, были удивлены тому, что в их глухую провинцию приехал из Вены «знатный барон» со странным поведением. Вскоре поползли слухи, отнюдь не беспочвенные, что он грубо обращается со своими учениками. Однако из позднейших свидетельств стало известно, что Витгенштейн был неплохим учителем — некоторые из его учеников весьма преуспели в учебе. Тем не менее дело закончилось плохо: в апреле 1926 года у него в классе произошел инцидент — ребенок потерял сознание от удара, нанесенного Витгенштейном. Родители школьника написали на Людвига жалобу.

Тогда он решил навсегда порвать с учительством.

В течение этих сельских лет Витгенштейн не прерывал общения с Веной и Кембриджем. Он встречался с Расселом сначала после возвращения из плена, а затем летом 1922 года, когда Рассел с новой женой и сыном приехал на несколько дней в Инсбрук. Его несколько раз навещал Фрэнк Рамсей — необыкновенно одаренный молодой математик и философ из Кембриджа, участвовавший в переводе «Трактата», — с которым Витгенштейн поддерживал дружеские отношения вплоть до его смерти в 1930 году. Все это время многие (Рассел, Мур, Кейнс и др.) в Кембридже настаивали на возвращении Витгенштейна в Великобританию.

Вместе с тем «Трактат», опубликованный в Великобритании в конце 1922 года, постепенно начинал приобретать известность среди местных читателей. В итоге летом 1924 года выдающийся философ Мориц Шлик, преподававший в Венском университете, связался с Витгенштейном, чтобы пригласить его подробнее рассказать о своих философских воззрениях группе философов и ученых, которые регулярно собирались под его руководством. Именно эта группа в 1928 году вырастет в «Кружок Эрнста Маха», который обычно называют «Венским кружком». В силу разных причин встреча Витгенштейна с Фликом состоялась лишь в февра-

ле 1927 года в доме одной из сестер Людвиг и положила начало продолжавшимся не один год беседам Витгенштейна с некоторыми членами кружка, в частности с Морицем Шликом и его ассистентом Фридрихом Вайсманом.

Резко покончив с учительством в апреле 1926 года Витгенштейн, вновь погрузившийся в уныние и отчаяние, сбежал в монастырь близ Вены, где стал не монахом, а садовником, как и шестью годами ранее. Он вернулся в Вену летом после смерти матери, произошедшей 3 июня 1926 года.

До января 1929 года Витгенштейн не покидал Вены, в основном занимаясь, совместно с другом Энгельманом, постройкой дома для своей сестры Маргарет (Гретль) Стонборо. Другая его сестра, Гермина, говорила, что это «логика, ставшая домом»: кубическая форма и отсутствие декоративных элементов придавали ему не слишком привлекательный вид, зато интерьер Витгенштейн продумал до мельчайших деталей. К сожалению, хоть сам дом существует и поныне, его внутреннее убранство было полностью изменено и более не соответствует тому, которое задумывал Витгенштейн.

Эти два года позволили ему вернуться к обычной жизни и, в частности, как уже отмечалось, возобновить занятия философией в сотрудничестве с членами «Венского кружка», объединившимися вокруг Шлика. Очевидно, Витгенштейн

окончательно утвердился в мысли о том, что способен сделать что-то значимое в философии, после доклада, произнесенного в Вене 10 марта 1928 года голландским математиком Лёйтзеном Брауэром — основоположником интуиционизма в философии математики. По просьбе Шлика, желавшего опубликовать в более доступном изложении тезисы «Трактата», Витгенштейн начал диктовать Вайсману тексты, кои должны были послужить материалом для книги, которой сам же Вайсман собирался придать законченный вид. Эта своеобразная работа над книгой продолжалась довольно долго: Витгенштейн делился с Вайсманом своими соображениями каждый раз, когда приезжал в Вену в начале 1930-х годов, а Вайсман пытался скомпоновать их в связный и целостный текст. Однако ничего из этой затеи не вышло.

В конце концов Витгенштейн вновь занялся философией и вернулся в Кембридж в январе 1929 года. В июне того же года он стал доктором философии, предоставив для защиты свой «Трактат», а также получил исследовательскую стипендию на лето и осень. В январе 1930 года он приступил к преподаванию, но лишь в конце того же года получил исследовательскую стипендию сроком на пять лет, то есть до весны 1936 года.

К этому периоду относится прежде всего сочинение, над которым он работал в течение все-

го 1930 года, и особенно летом. «Философские заметки», которые были опубликованы лишь после смерти Витгенштейна, помогли ему в свое время получить исследовательскую стипендию. В течение последующих лет (1931–1934 годы) он редактировал совокупность заметок, объединенных под заголовком «Философская грамматика». Витгенштейн имел обыкновение ежедневно записывать в тетрадях результаты своих размышлений. Затем он удалял из записей все лишнее, собирая воедино то, что представлялось ему интересным. Потом, по всей видимости, диктовал результат этой работы, а затем перечитывал и подправлял надиктованное, и так до бесконечности. Витгенштейн сетовал на то, что ему с огромным трудом удается точно выражать свои мысли на бумаге. Из чего следовало, что он очень часто (если не всегда) был не удовлетворен тем, что делал. Поэтому он много писал, но ничего не публиковал.

К 1933–1934 и 1934–1935 годам относятся также надиктованные им студентам «Голубая книга» и «Коричневая книга», которые ходили по рукам в Кембридже.

Академическая жизнь тяготила Витгенштейна. Он упорно советовал студентам не заниматься преподаванием философии и сам был склонен к смене профессии. В ту пору он подумывал пойти учиться на врача или даже эмигрировать в СССР, чтобы заниматься там физическим тру-

дом. Он выучил русский язык за 1934–1935 годы, а в сентябре 1935-го около десяти дней провел в Санкт-Петербурге и Москве. Кажется, ему предложили работать в университете, но уж никак не в колхозе и не на заводе!

Весной 1936 года, когда закончился срок, на который была выдана исследовательская стипендия, Витгенштейн не стал искать новую работу, а предпочел закончить свою книгу, уединившись в своем домике в Норвегии. Он прожил там с августа 1936-го по декабрь 1937 года, но каждый год неукоснительно проводил Рождество в кругу семьи в Вене, где он также пробыл несколько недель в начале лета 1937 года. Тогда же им были написаны первые страницы «Философских исследований».

Поскольку жизнь в одиночестве не принесла ему счастья, в декабре 1937 года он вернулся в Вену, толком не зная, чем заниматься дальше. Вполне возможно, его опять посетила мысль о медицинской карьере. Как бы то ни было, в начале февраля 1938 года Витгенштейн отправился в Ирландию, в Дублин, к Морису О'Кону Друри — бывшему ученику, ставшему ему другом, — который, поддавшись на его уговоры, оставил философию и на тот момент завершал обучение на психиатра. Именно оттуда Витгенштейн следил с возрастающей тревогой за процессом аншлюса (февраль-март 1938-го). Первым его порывом было уехать к родным в Вену,

но один из его друзей — экономист марксистской ориентации Пьеро Сраффа, преподававший в Кембридже, — посоветовал ему воздержаться от этого поступка, объяснив, что, оказавшись в Австрии, он не сможет впоследствии покинуть ее пределы.

Эта сложная ситуация сподвигла Витгенштейна искать постоянную должность в Кембридже и подать прошение о британском гражданстве. Летом 1938 года он неофициально возобновил преподавание в Кембридже, а в феврале 1939-го был избран профессором философии на место Мура. 3 июня 1939 года Витгенштейн получил гражданство Великобритании. Все эти месяцы его сестры, которые отказались покидать Вену, невзирая на нависшую над ними опасность, обусловленную их еврейским происхождением, вели переговоры с нацистским руководством и добились того, что их перестали считать еврейками в обмен на передачу большей части их состояния нацистской Германии. Его брат Пауль тем временем уехал в США.

Витгенштейн занимался преподавательской деятельностью в течение последующих трех лет, вплоть до весны 1941 года. Его лекции касались главным образом оснований математики. Однако он не считал для себя возможным делать вид, будто ничего не происходит, и продолжать преподавать в Кембридже, оставаясь в стороне от нужд фронта. Осенью 1941 года

ему удалось устроиться сторожем, а затем помощником фармацевта в аптеке лондонской больницы Гая. А в апреле 1943 года он приступил к работе в медицинской лаборатории в Ньюкасле, занимавшейся пациентами с тяжелыми ранениями.

В сентябре 1943 года, желая наконец опубликовать свою книгу, он вступил в переговоры с издательством Кембриджского университета, которые успешно завершились в январе 1944-го. В феврале того же года Витгенштейн покинул Ньюкасл и, попросив руководство университета предоставить ему возможность не сразу приступить к преподаванию, отправился в Суонси (Уэльс) к своему бывшему студенту Рашу Рису, чтобы попытаться дописать книгу. Однако и эта попытка была тщетной — уже осенью 1944 года вопреки своей воле Витгенштейн был вынужден вернуться в Кембридж.

Несмотря на усилившееся отвращение к атмосфере Кембриджа и послевоенной Англии в целом, а также к преподаванию, Витгенштейн продолжал читать лекции до весны 1947 года. Главной их темой была философия психологии. В 1945–1946 годах он дописывал первую часть «Философских исследований», а в августе 1947 года принял решение уволиться.

С зимы 1947-го по весну 1948 года Витгенштейн сначала жил уединенно в Ирландии, а затем, в 1948–1949 годах — в одном из отелей

Дублина. Все это время он пытался дописать «свою» книгу, но это ему мало удавалось: он все чаще ощущал усталость, его мучили боли в кишечнике и депрессия. Тем не менее перед тем, как уехать в США в июле 1949 года по приглашению одного из своих бывших студентов, Витгенштейн оставил относительно законченные машинописные тексты. С этого момента и до самой смерти он жил то у одного своего друга, то у другого, не имея больше ни работы, ни стабильного заработка.

Вернувшись из США в конце октября 1949 года, Витгенштейн чувствовал себя настолько плохо, что не смог уехать в Ирландию и вынужден был остаться у своего друга Георга фон Вригта в Кембридже. В ноябре у Витгенштейна диагностировали рак простаты. Тогда он решил уехать в родительский дом в Вену, куда прибыл в конце декабря. Его старшая сестра Гермина, тоже страдавшая от рака, находилась при смерти. Она умерла 11 февраля 1950 года.

Однако, когда самочувствие Витгенштейна немного улучшилось, он, посчитав, что еще сможет работать, в начале апреля вернулся в Англию и поселился сперва у фон Вригта в Кембридже, а затем, с мая, — у своей ученицы Элизабет Энском в Оксфорде. В компании одного из друзей в октябре он даже посетил свой домик в Норвегии, в котором намеревался окончательно поселиться, чтобы вплотную заняться там

работой. Этим планам не суждено было осуществиться из-за ухудшения состояния его здоровья, произошедшего в конце декабря.

Поскольку Витгенштейну стал требоваться постоянный уход, в начале февраля 1951 года он поселился у своего лечащего врача Эдварда Бивана. В последние два месяца жизни он написал значительную часть ранее начатого текста, который впоследствии будет издан под названием «О достоверности». Людвиг Витгенштейн умер 29 апреля, спустя два дня после своего шестьдесят второго дня рождения.

Витгенштейн очень рано стал известен в философских кругах. Его первая книга — единственная, изданная при жизни, — в Австрии, Германии и Англии привлекла внимание тех, кто интересовался теорией познания и считал, что «новая логика» Фреге и Рассела имела важные последствия для философии (во Франции это мнение не разделялось). Когда Витгенштейн вернулся в Кембридж в 1929 году, на него уже смотрели как на незаурядного мыслителя.

В начале 1930-х годов он поражал философский мир, развивая в беседах с членами «Венского кружка» и на лекциях в Кембридже новые идеи, которые, казалось, в корне противоречили изложенному им в «Трактате». Да и сама его манера преподавания была странной: он читал лек-

ции без предварительной подготовки, излагал мысли прерывисто. Его занятия, состоявшие из вопросов, возражений и более-менее развернутых ответов, представляли собой подобие дискуссий между Витгенштейном и аудиторией, которые сопровождались многочисленными паузами и требовали высокой степени умственного напряжения. Эти утомительные для некоторых лекции были для Витгенштейна единственным способом опубликовать его новые идеи. Однако присутствовавшие на них студенты — некоторые из которых были буквально зачарованы происходившим — порою не могли уследить за ходом его мыслей и оценить истинную важность его замечаний, подчас очень простых. Сам Витгенштейн был невысокого мнения о своих педагогических способностях и с печалью полагал, что студенты выносили из его лекций главным образом слова-паразиты и своеобразную манеру говорить.

В итоге произошла закономерная вещь: Витгенштейн прослыл человеком, который обладает глубочайшим умом и говорит о крайне важных вещах, но о каких именно — толком не понятно... Кроме того, Витгенштейна приводили в бешенство попытки студентов обнародовать его новые идеи, поскольку ему всегда казалось, что смысл его слов понимают неправильно, а значит, их искажают. В связи с этим становится понятно, почему о нем поползли самые невероятные слу-

хи, касавшиеся как содержания его лекций, так и его образа жизни.

Витгенштейн не довольствовался чтением лекций. Он регулярно участвовал в заседаниях философских обществ и прочих клубов Кембриджа, так как обоснованно полагал, что философ, который не вступает в дискуссии, похож на боксера, который отказывается выходить на ринг. Витгенштейн часто приглашал на философские беседы своих лучших студентов — таким образом вокруг него собралась группа учеников, на которых он оказывал влияние, выходящее за рамки философии. Он без стеснения раздавал советы и замечания относительно выбора жизненного пути, который предстояло сделать этим молодым людям.

Многие из этих учеников опубликовали после его смерти воспоминания о Витгенштейне, которые отчаянно напоминают Евангелия — только не от Луки и Иоанна, а от Малкольма и Друри: там содержатся как занятные, так и малозначительные подробности из жизни философа, собранные с благоговением для того, чтобы продемонстрировать незаурядность, если не гениальность Витгенштейна. Безусловно, эти книги позволили лучше узнать его личность, но вместе с тем не избавили от ощущения, что, несмотря на все разнообразие книг о Витгенштейне, которые подчас изобилуют вопиющими банально-

стями, что-то бесконечно важное так и осталось несказанным. Самое интересное, что самому Витгенштейну, пожалуй, была бы отвратительна такого рода литература...

Что же касается его творческого наследия, то с ним дело обстоит непросто. Как известно, Витгенштейн в своей жизни опубликовал только одну работу, которая имела большой успех. В ту пору ему было 32 года. «Трактат» — это небольшая по объему книга, примерно семидесяти страниц, состоящая из череды афоризмов или кратких пронумерованных параграфов, которые на первый взгляд кажутся расположенными по неведомому принципу. В предисловии к этому сочинению Витгенштейн отметил, что сказал в нем все, что хотел:

«...истинность изложенных здесь мыслей кажется мне неопровержимой и окончательной. Следовательно, я держусь того мнения, что поставленные в ней проблемы по существу решены окончательно»¹.

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Пер. с немецкого и сверено с авторизованным английским переводом И. Добронравовым и Д. Лахути. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. С. 34. (Здесь и далее все цитаты из «Логико-философского трактата» приводятся по этому изданию. — Примеч. ред.)

При этом он не уточняет, о каких именно проблемах идет речь...

Однако, когда в конце двадцатых годов Витгенштейн попытался объяснить суть этого лаконичного и трудного для понимания текста, он быстро пришел к выводу, что был уже не силах совладать с количеством изложенных в нем тезисов. Он создал тогда одновременно новые концепции и, главное, особую манеру философствования. Хотя попытки Витгенштейна письменно изложить свои новые идеи не привели к созданию какой-либо законченной книги, тем не менее он исписал замечаниями и размышлениями тысячи страниц, которые доверил перед смертью трем ученикам, состоявшим с ним в дружеских отношениях: Элизабет Энском, Рашу Рису и Георгу фон Вригту.

Спустя два года после его смерти они опубликовали «Философские исследования»¹ — недописанную книгу, над которой Витгенштейн работал с 1935–1936 годов, но, как мы знаем, в конце зимы 1946 года придал более-менее законченный вид лишь первой ее части. То, что сегодня представляется под видом второй части, в действительности является не более чем совокупностью заметок, подготовленных к публика-

¹ Эта работа была переведена на французский язык под названием «Investigations Philosophiques».

ции в июне-июле 1949 года, которые, по-видимому, должны была использоваться в качестве новой редакции первой части. «Настоящую» вторую часть Витгенштейн планировал посвятить анализу математических понятий. Невзирая на различия, существующие между идеальной книгой и реальной, можно сказать, что мы имеем дело с текстом, *приблизительно* соответствующим тому, который бы желал опубликовать Витгенштейн.

Таким образом, мы можем заключить, что к подлинно витгенштейновским сочинениям относятся: «Трактат» и, что представляется более спорным, «Философские исследования». В этих двух работах развиваются идеи, которые могут показаться очень разными, поскольку «Философские исследования» отчасти являются опровержением «Трактата». На основании этого многими исследователями признается существование *двух* философий Витгенштейна, что, в свою очередь, вызывает вопрос о том, противоречат они друг другу или, наоборот, взаимосвязаны.

Написанное Витгенштейном, однако, не ограничивается этими двумя работами. Как уже отмечалось, он непрестанно записывал свои мысли, потом выделял из этого материала некоторые тезисы с целью превратить их в целостные тексты, которые впоследствии отдавал перепе-

чатывать на машинке, а затем вновь правил, переделывал и т. д. Душеприказчики Витгенштейна скомпоновали из этой массы рукописей различные книги, более-менее соответствующие этапам редактирования, которым занимался Витгенштейн, и опубликовали их. Для этого душеприказчикам пришлось отобрать часть рукописей и внести в них изменения, руководствуясь известными только им критериями. Из этих «книг» можно упомянуть следующие:

— «Философские заметки», которые были написаны в 1929–1930 годах и помогли Витгенштейну получить исследовательскую стипендию;

— «Философская грамматика» — отрывок из большого машинописного текста, начатого в 1932 году, который странным образом не был опубликован целиком;

— «Голубая книга» и «Коричневая книга», которые Витгенштейн надиктовал кембриджским студентам в 1933–1934 и 1934–1935 годах соответственно; причем «Коричневую книгу» можно считать первой, незавершенной, редакцией «Философских исследований»;

— «Замечания по основаниям математики» — совокупность текстов, созданных на основе рукописей и машинописных текстов 1937–1944 годов. Только первой части «Замечаний» Витгенштейн придал практически законченный вид,

и она должна была составлять вторую часть «Философских исследований»;

— «Заметки по философии психологии», которые соответствуют двум совокупностям машинописных текстов, напечатанным по просьбе Витгенштейна в 1948–1949 годах;

— «О достоверности» — совокупность написанных от руки заметок, последние из которых сделаны за два дня до смерти.

К этим текстам, созданным Витгенштейном, но отредактированным зачастую не им, следует добавить тексты, происхождение которых до сих пор не установлено.

С одной стороны, были опубликованы сделанные его студентами конспекты лекций, которые он читал в течение 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1934/35 и 1946/47 годов, а также конспекты важных лекций зимы-весны 1939 года, посвященных основаниям математики.

С другой стороны, в нашем распоряжении имеются тексты, записанные под диктовку Витгенштейна (или тексты аналогичного происхождения) либо во время встреч с членами «Венского кружка» в период между декабрем 1929-го и июлем 1932 года, либо Вайсманом в 1930–1934 годах, когда тот готовил работу, в которой пытался в доступной форме изложить основные идеи Витгенштейна.

Все эти книги — конспекты лекций и тексты, записанные под диктовку, — являют собой многочисленные свидетельства эволюции философии Витгенштейна, начавшейся в 1929 году, и позволяют заполнить пробел между «Логико-философским трактатом» и «Философскими исследованиями», которые остаются все-таки его единственными подлинными сочинениями.

Почти все эти тексты были с большим или меньшим успехом переведены на французский язык.

II

**«ЛОГИКО-
ФИЛОСОФСКИЙ
ТРАКТАТ»:
ВСТУПЛЕНИЕ**

Как указывалось выше, зачастую исследователи различают два этапа в эволюции философии Витгенштейна: для удобства назовем их Витгенштейн I и Витгенштейн II. Первый этап был досконально изложен в «Логико-философском трактате», принесшем Витгенштейну известность в определенных философских кругах. Второй отражен главным образом в книге «Философские исследования», изданной после его смерти. Для начала попытаемся кратко охарактеризовать различие между этими двумя этапами.

В «Трактате» говорится о том, что составляет природу языка и мира и благодаря чему возможно понять, что предложения имеют смысл, то есть способны выражать положения вещей и быть истинными или ложными.

Необходимость данного исследования обусловлена тем фактом, что грамматика обычных языков, которые мы учим в детстве, является несовершенной: она позволяет нам строить предложения, которые кажутся осмысленными, тогда как в действительности таковыми не являются. В основном речь идет о предложениях,

встречающихся в сочинениях по «метафизике». Выявляя то, что дает предложению возможность быть осмысленным, «Трактат» имеет целью предостеречь от разнузданного употребления обыденного языка и покончить с философскими проблемами, основанными исключительно на неправильном понимании истинной природы языка.

Главный тезис работы Витгенштейна заключается в том, что язык и мир должны иметь нечто общее, если мы понимаем, что можем формулировать предложения, которые могут быть истинными или ложными, то есть осмысленными. Язык и мир объединяет одна и та же логическая форма, которая находит свое выражение в логических предложениях. В этом отношении Витгенштейн намеревается разобраться в «Трактате» с масштабной проблемой, поставленной его великими предшественниками — Фреге и в особенности Расселом, а именно: что есть логическая истина? Вот почему вначале считалось, что «Трактат» привносит нечто новое в особую науку — логику, основательно реформированную этими двумя философами. По этой же причине Витгенштейна I иногда причисляют к логикам.

Таким образом, Витгенштейн ставит себе задачей выявить в «Трактате» самое важное в языке, нечто, делающее возможным, чтобы то, что мы говорим в известных случаях, выражало то,

что существует. При этом он вынужденно отходит от обычного языка, организованного не так, как язык логики, и предлагает искусственную систему символов, которая видится ему подобием «идеального языка».

В отношении именно этого пункта особенно наглядна перемена позиции Витгенштейна II в начале 1930-х годов. Он полностью отказался от той идеи, что у предложения имеется *определенная* форма, делающая его осмысленным, которую нужно выявить, а также при необходимости изобрести искусственную систему символов, в которой эта форма будет незамедлительно проявляться. Смысл того, что мы говорим, обнаруживается в способах употребления нами языковых инструментов, которые в силу своего многообразия несводимы к единой модели. Чистоте логики, которая должна показать общую для мира и языка форму, Витгенштейн II противопоставляет так называемый обыденный язык с его богатством и разнообразием: для того, чтобы определить, что означает то или иное выражение, нужно обратиться к способу его употребления в повседневной жизни.

Однако изменение воззрений Витгенштейна II не затронуло пункт, который был упомянут в связи с «Трактатом». Он не вернулся к идее о том, что большинство философских проблем происходят от неправильного употребления находящихся в нашем распоряжении речевых средств.

Таким образом, Витгенштейн II придерживался мнения, что философы не понимают логики языка, однако логика в данном случае означает лишь способы функционирования слов и выражений, такие способы, которые обнаруживаются в повседневной речи. Поэтому для преодоления вышеназванных проблем, которые Витгенштейн II сравнивает с болезнями разума, важно напомнить, каково это употребление, описать способы функционирования того или иного слова. Разумеется, это сделать непросто, поскольку речь идет не о том, чтобы устраивать уличные опросы с целью узнать, как употребляется то или иное выражение, а о том, чтобы вспомнить то, что, в общем-то, всегда было известно, но тем не менее забыто, или, если угодно, нарисовать подобие карты нашего языка.

Итак, задача состоит уже не в том, чтобы исследовать глубины языка, но, наоборот, в том, чтобы оставаться на его поверхности: для этого необходимо обрести то, что Витгенштейн называет синоптическим взглядом, а также, в отличие от философов, не ограничиваться осмыслением какого-либо одного аспекта языка, которому необоснованно отдается предпочтение.

Вышеприведенные разъяснения являются, безусловно, крайне упрощенными, однако их достаточно для введения в нашу тему: главная

идея, содержащаяся в этом кратком изложении философии Витгенштейна, заключается в том, что волнующие философов проблемы практически всегда возникают из-за неправильного понимания значений выражений, которыми они оперируют. Поэтому решение философских проблем происходит через прояснение того, как функционируют наши языки, осуществляемое либо по модели, предложенной в «Трактате», либо по модели описаний, которыми занимался Витгенштейн II.

Сразу же предупредим читателя, что подобный подход к философии Витгенштейна не лишен доли субъективности. Очевидно, что столь многозначное и плохо отредактированное «творение» может быть осмыслено по-разному и что навряд ли найдется какой-либо иной философский труд, в отношении которого может быть оправдано наличие несхожих точек зрения. Кстати, немногие современные сочинения из области философии удостоились такого количества комментариев и толкований.

Кроме того, по причинам, касающимся опять-таки личных философских предпочтений автора этих строк (о которых здесь упоминать не стоит), «Трактату» будет уделено особое внимание, не сопоставимое с количеством его страниц. Мы считаем эту работу Витгенштейна философским шедевром, образцовой работой в том смысле,

что все подмастерья, желающие попасть в цех, обязаны завершить обучение, создав свой шедевр.

Содержание «Логико-философского трактата»

Вот как Витгенштейн объясняет в предисловии к «Трактату» суть его содержания:

«Книга обсуждает философские проблемы и показывает, как я полагаю, что постановка этих проблем основывается на неправильном понимании логики нашего языка. Весь смысл книги можно выразить приблизительно в следующих словах: то, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать»¹.

Два момента из этой небольшой цитаты заслуживают особого внимания. Утверждая вначале, что философские проблемы основаны на неправильном понимании «логики нашего языка», Витгенштейн тем самым признает, что «философские проблемы» являются всего лишь мнимыми проблемами и, следовательно, не могут быть решены. Одновременно он намечает

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. С. 32.

план действий: показать, что собой представляет «логика нашего языка» и таким образом закончить с этими мнимыми проблемами. В этом и состоит цель, ради которой писался «Трактат».

Кроме того, из вышеприведенного текста можно понять, что, по мнению Витгенштейна, является изъяном, которой лежит в основе всех философских проблем и делает их нерешаемыми: решение такого рода проблем приводит к нарушению молчания в отношении того, о чем говорить невозможно. Философы не осознают, что вопросы, которыми они задаются, и поиски ответов на них выходят за *границы* того, о чем может быть сказано осмысленно. Таким образом, «Трактат», показывая, какова «логика нашего языка», при этом очерчивает границы выразимого.

А это не так-то просто сделать. Главная идея, лежащая в основе двух утверждений, которые изложены в начале «Трактата», состоит в том, что подчас мы склонны думать, что формулируем вопросы, а также, возможно, ответы на эти вопросы, говоря осмысленные вещи, тогда как в действительности мы ничего не говорим...

Приведем пример. Одна из старейших «философских проблем» заключается в следующем: имеет ли мир начало? С точки зрения Витгенштейна, подобный вопрос и утвердительный ответ на него (да, мир имеет начало) пытаются выразить нечто такое, что выразить нельзя. Тем

не менее этот вопрос является грамматически корректным, и тот, кто его формулирует, так же как и тот, кому он задан, уверены, что понимают его смысл. Мы же не спрашиваем: «имеет ли мир который?» или «болен ли мир scarлатиной?». В первом случае мы явно нарушаем правила грамматики; во втором случае грамматические нормы, конечно, соблюдены, но, по видимости, произошла смысловая ошибка: мир, равно как и камень или здание, относится к категории вещей, в отношении которых не имеет *смысла* спрашивать, болят они scarлатиной или нет. Однако между этими вопросами существует различие. Первый из них напрочь лишен смысла, а второй можно истолковать в метафорическом ключе: в конечном счете журналисты без колебаний пишут, что современный мир находится в критическом состоянии, что он (очень) болен и т. п. Почему бы не пойти дальше и не задаться вопросом, от какой именно болезни он страдает?

Тезис Витгенштейна, как будет показано далее, состоит в том, что вопрос «имеет ли мир начало?» столь же бессодержателен, как вопрос «имеет ли мир который?», хотя и кажется намного менее сомнительным, чем «болен ли мир scarлатиной?». Уточним. Если задать вопрос «имеет ли мир начало?» физику, то, вероятнее всего, он честно ответит, что, во-первых, на него пока не существует ответа, а во-вторых, *с точки зрения*

физики подобный вопрос лишен смысла. Это означает, что способы проверки утверждений в области физики *a priori* исключают ответ на этот вопрос; но это не значит, что вопрос сам по себе бессмыслен, и ничто не запрещает нам думать, что на него могли бы дать ответ религия или метафизика. Возможно, наш физик убежден, что метафизика и религия являются не более чем пустыми теоретическими построениями и что лучше заняться развитием научной физики, но его убеждение основывается на следующем эпистемологическом аргументе: только физика с ее строгой методологией способна дать нам истину или почти истину, в то время как религия и метафизика — это лишь результат лени ума или бреда, что не может привести к чему-то дельному. Наш физик, вероятно, не сочтет данный вопрос бессмысленным, однако все потенциальные ответы на него обречены на бездоказательность, а значит, относятся к разряду сугубо личных воззрений, лишенных объективной ценности.

В истории философии нередко встречаются подобные идеи. С тех пор, как в начале XVII века физика выделилась в самостоятельную, одновременно математизированную и экспериментальную науку, многие философы объявили этот способ формирования знаний единственно правильным, вследствие чего потребовалось решительно оставить всякую надежду найти ответы

на многочисленные метафизические вопросы из серии «имеет ли мир начало?», поскольку ответ на них можно дать, лишь выйдя за пределы того, что дано в опыте. Первыми подобный отказ от метафизических спекуляций четко выразили английские эмпиристы в XVIII веке, в частности Юм, чей труд «Исследование о человеческом разуме» заканчивается следующим небезызвестным наказом:

«Если... мы осмотрим содержимое библиотек, от чего нам придется избавиться? Возьмем в руки, например, какую-нибудь книгу по богословию или схоластической метафизике и спросим себя: содержит ли она абстрактные рассуждения о количестве или числе? Нет. Содержит ли она основанные на опыте рассуждения о проблемах фактов и существования? Нет. Так бросьте ее в огонь, ибо в ней нет ничего, кроме софизмов и заблуждений».

В конце XVIII века к схожему выводу пришел Кант, посчитав, что в «Критике чистого разума» ему удалось определить, что деятельность разума ограничена сферой опыта, поскольку основные понятия, которые он использует, служат для формирования опыта как *нашего опыта*. Как только разум пытается выйти за границы опыта, он погрязает в принципиально непреодолимых трудностях, возникающих из-за того, что ввиду

отсутствия чувственных данных разум обращается к понятиям, использование которых допустимо только в привязке к чувственной интуиции, поскольку они конституируют сам опыт. Разум, беспрестанно ищущий абсолюта, разумеется, естественным образом склонен к пустым спекуляциям, но задача Канта — предостеречь нас от сей пагубной склонности.

Витгенштейн, как видно из вышеприведенной цитаты из предисловия, разделяет мысль о том, что философские проблемы суть мнимые проблемы, однако подходит к ней по-иному: метафизика должна быть отвергнута не потому, что она втягивает нас в не основанные на опыте рассуждения, но потому, что она пытается выразить то, что *в принципе* невыразимо посредством языка, из чего следует, что метафизические высказывания просто лишены *смысла*, так же и как высказывания вроде «мир имеет который».

На чем основано подобное утверждение? Как уже было отмечено выше — на представлении о том, что философы-метафизики ошибочно понимают «логику нашего языка». Это означает, что необходимо проводить различие между этой «логикой нашего языка» и грамматикой, которую мы осваиваем в начальной школе. Существуют формулировки, которые, несмотря на свою грамматическую и даже семантическую правильность, являются логически несовершен-

ными, а значит, в действительности бессмысленными. Суть не в том, что невозможность доказать, обосновать, опытно подтвердить эти формулировки делает их однозначно сомнительными, но в том, что они фактически *ничего* не говорят.

Что означает подобное противопоставление между грамматикой и логикой? Идет ли речь о подходе, присущем лично Витгенштейну? Не совсем. В этом противопоставлении содержатся два аспекта, которые нам необходимо раскрыть.

С одной стороны, здесь обнаруживается идея того, что лексика и грамматика языков не являются, так сказать, «невинными». Эта тема, которая прослеживается на протяжении всего XIX века, особенно в Германии, зиждется на соображении, изложенном в XVIII веке Гердером, а именно: язык представляет собой не нейтральный инструмент мышления или разума, но то, в чем и посредством чего мы мыслим. Язык формирует мышление, а значит, определяет его в культурном и историческом отношениях: не существует *некоего*, неизменяемого и независимого от языка мышления, предшествующего языкам, на которых говорят люди; наоборот, мышление существует только в единстве с языками, которые по существу являются историческими реальностями, претерпевающими изменения во времени и пространстве.

Исходя из этого, можно с легкостью заключить, что принимаемое нами за возвышенные (метафизические) истины или неоспоримые выводы, на деле является лишь (не осознаваемым нами) воздействием некоторых характеристик языков, на которых мы говорим. Приведем простой пример. Мы можем сказать осмысленно, что то или иное предложение *истинно*, если оно отображает то, что существует в действительности. Образование производных слов, например во французском языке, позволяет превратить прилагательное в существительное так, что можно говорить об *истинности* данного предложения, затем мы постепенно переходим к разговору об истине вообще и начинаем размышлять об *Истине* с большой буквы, задаваясь вопросом, к примеру, о том, существует ли истина сама по себе, абсолютная истина и т. п.

Как видно, легко впасть в заблуждение, посчитав, что мы говорим о чем-то реальном, тогда как мы имеем дело с обычными возможностями грамматики, с помощью которых далеко не всегда люди образуют фразы, обозначающие определенную реальность. Так, многие авторы в XIX веке критиковали метафизику за то, что эта так называемая наука была не более чем тенью, отбрасываемой грамматикой. Вот, к примеру, что писал Ницше по этому вопросу:

«*Разум*» в языке — о, что это за старый обманщик! Я боюсь, что мы не освободимся от Бога, потому что еще верим в грамматику...»¹

Наиболее очевидным следствием такого рода воззрений стал, естественно, скептический релятивизм: если наш способ мыслить является всего лишь порождением способа говорить, то больше нет смысла делать вид, что мы способны высказывать истины и что наши рассуждения «сами по себе» имеют какую-либо ценность.

Витгенштейн, вероятно, готов был согласиться с тем, что «мысль есть осмысленное предложение»² и что грамматика вводит нас в заблуждение, но, по крайней мере, в «Трактате» он не удовлетворился подобной, исключительно негативной, позицией. Противопоставление между грамматикой и «логикой нашего языка», встреченное нами в вышеприведенной цитате из предисловия, означает, что за поверхностной грамматикой скрыта своего рода глубинная грамматика, с которой она находится в оппози-

¹ *Nietzsche F.* Le crépuscule des idoles, trad. H. Albert, Paris : Mercure de France, 1952. P. 106 [*Ницше Ф.* Сумерки идолов, или Как философствуют молотом / Пер. Н. Полилова. М.: Эксмо-Пресс, 2018].

² *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат. 4. С. 72. «Трактат» состоит из коротких пронумерованных параграфов. Эта нумерация призвана обозначить место и значимость параграфов. Мы будем цитировать эту работу, указывая номер параграфа.

ции. Следовательно, эту оппозицию можно выявить; что, в свою очередь, возможно только при условии понимания того, что собой представляет «логика нашего языка». Посему можно предположить, что, выбрав такой способ выражения, который соответствует «логике нашего языка», мы избежим риска быть обманутыми, как это бывает, когда мы полностью полагаемся лишь на поверхностную грамматику. Таким образом, мы видим, что «Трактат» отнюдь не поддерживает релятивизм, о котором упоминалось в предыдущем абзаце.

В этом состоит второй аспект позиции Витгенштейна, на который мы указывали ранее: в наших языках присутствует глубинная логика, которая хоть и скрыта поверхностной грамматикой, но поддается выявлению. Сама эта идея опять-таки не принадлежит Витгенштейну — ее авторами выступают мыслители, о которых уже заходила речь выше, теперь же, прежде чем перейти непосредственно к содержанию «Трактата», расскажем о них подробнее. Речь идет о двух великих реформаторах логики — немце Готлобе Фреге (1848–1925) и британце Бертроне Расселе (1872–1970).

Что такое логика?

Вплоть до конца XIX столетия считалось, что логика в законченном виде появилась благодаря гениальному уму Аристотеля еще в IV веке

до н. э. Двое вышеупомянутых ученых в своих работах опровергли это убеждение, доказав, что силлогистика Аристотеля являла собой в лучшем случае лишь небольшую часть логики.

Что это означает? И вообще — что такое логика? Самое простое и точное определение из всех возможных заключается в нескольких словах: логика — это наука о правильных с точки зрения формы умозаключениях (рассуждениях), или, если угодно, задача логики состоит в том, что *показать* формы правильных умозаключений (рассуждений), обосновывая по возможности их логическую правильность.

Истинность предложения можно установить двумя разными способами. Первый — наиболее простой и распространенный — состоит в том, чтобы соотнести заявляемое в предложении с реальностью. Если мне скажут: *на столе рассыпана соль*, лучшее, что я могу сделать для определения истинности этого предложения, — осмотреть поверхность стола, о котором идет речь. В случае, если я не могу сделать этого самостоятельно и потому доверяю словам кого-то другого, следует признать, что этот кто-то имел возможность установить, действительно ли на столе рассыпана соль.

Однако можно действовать по-другому, а именно, как говорится, предаться рассуждениям. Предположим, мне уже известно, что все живое на Земле обречено на смерть, и вдруг

я узнаю, что кораллы — живые существа; не имея нужды в каких-либо дополнительных наблюдениях, я могу из этого заключить, что кораллы тоже обречены на смерть. Я могу быть уверенным в истинности последнего предложения, если знаю, что оба первых являются истинными. Основана ли эта уверенность на том, что речь идет о живых существах и кораллах? Вовсе нет, поскольку, заменив соответственно выражения «живое», «кораллы» и «обречено на смерть» выражениями «роман», «книги, написанные Бальзаком» и «вредны для нравственности девушек», я с такой же легкостью смогу сделать вывод, что книги, написанные Бальзаком, вредны для нравственности девушек.

Таким образом, необходимо отличать содержание предложений, которые входят в умозаключение, от их «формы», то есть от того, что мы получим, абстрагировавшись от таких выражений, как «кораллы», «книги, написанные Бальзаком» и т. п. В приведенном выше примере обозначим латинской буквой М живое и роман, буквой S — кораллы и книги, написанные Бальзаком, и, наконец, буквой Р — обречено на смерть и вредны для нравственности девушек. Получаем следующую «форму»: нам известно, что все М есть Р (*все живое обречено на смерть*), мы узнаем или уже знаем, что S есть М (*кораллы — живые существа*), из чего мы заключаем, что S есть Р (*кораллы обречены на смерть*). Мы будем по-

лучать правильное умозаключение всякий раз, когда будем заменять буквы М, Р и S любым выражением, которое имеет определенное значение, следя за тем, чтобы буквы и выражения соответствовали друг другу.

Возможно, кто-то возразит в отношении второго умозаключения, что в действительности Бальзак писал не только романы, а потому нельзя заключить, что все книги, написанные Бальзаком, вредны для нравственности девушек. Тем не менее это возражение касается не *правильности* самого умозаключения, но *истинности* одного из двух первых предложений; поскольку правильность умозаключения зависит не от того, являются ли предложения, его составляющие, действительно истинными или ложными, но от следующего: *если* два первых предложения (две посылки) истинны, то и третье предложение (заключение) непременно тоже будет таковым. Иначе говоря, умозаключение является правильным, поскольку при наличии двух истинных посылок *невозможно* вывести ложное заключение.

Таким образом, необходимо провести второе различие между *правильностью* умозаключения и *истинностью* или *ложностью* посылок и вывода. Можно построить совершенно правильные умозаключения с ложными посылками; разумеется, в этом случае заключение может оказаться ложным, но это не повлияет на «верность»

умозаключения. Последнее замечание имеет отношение к тому, о чем говорилось ранее: возможность выявить «форму» правильных умозаключений обусловлена тем, что нас не волнует *фактическая* истинность или ложность посылок; мы учитываем лишь их возможность быть истинными. Утверждается, что если посылки той или иной *формы* умозаключения были истинными, то заключение этой *формы* тоже будет таковым. Поскольку нет необходимости узнавать, *действительно* ли посылки являются истинными или ложными, можно абстрагироваться от конкретного содержания выражений, которые мы обозначаем буквами. Если, напротив, будет важно определить истинность или ложность посылок, нам, естественно, придется учитывать это конкретное содержание.

Из этого различия вытекает, что правильность умозаключения не зависит от объективной реальности, а значит, мир может быть совершенно иным, однако это никак не отразится на том, что составляет правильность умозаключения. Наука логика, цель которой состоит в выявлении правильных умозаключений, должна быть *априорной*, то есть развиваться независимо от реальности, такой, какая она есть, или, если угодно, логика не должна ничего заимствовать у опыта. Мы еще вернемся к этому вопросу — одному из самых главных в «Трактате».

Однако пойдём дальше и рассмотрим вклад Аристотеля в логику, чтобы затем нагляднее показать особенности реформы, осуществленной Фреге и Расселом. В вышеприведенном примере правильность умозаключения достаточно очевидна, поскольку мы сформулировали посылки с тем расчетом, чтобы сделать очевидным то, *о чем* мы говорим, и то, *что* мы об этом говорим. Так, именно о романах сказано, что они вредны для нравственности девушек и это проявляется непосредственно в способе формулирования посылки, поскольку существительное «роман» является субъектом в предложении, а «вредны для нравственности девушек» является предикатом. Кроме того, строй предложения отражает, так сказать, функции его компонентов: раз мы говорим о романах, то слово «роман» ставится в начало предложения, тем самым привлекая внимание слушающего к тому, *о чем* говорится, и лишь после этого мы указываем то, *что* об этом говорится — что им свойственно вредить нравственности девушек.

Однако дело не всегда обстоит так просто. Например, это предложение можно было бы сформулировать следующим образом: *«нравственность девушек страдает от чтения романов»* или так: *«девушки, которые читают романы, подвергают свою нравственность серьезной опасности»*. Нет уверенности в том, что при такой формулировке правильность умозаключения

была бы столь же очевидной, так как может показаться, что эти предложения касаются нравственности девушек или самих девушек, но не романов.

Впрочем, из предложения *«девушки, которые читают романы, подвергают свою нравственность серьезной опасности»* вполне возможно вывести заключение, в корне отличающееся от предыдущего. Добавим посылку: *«девушки, воспитанные в монастырях, читают романы»*. Тогда заключение становится таким: *«девушки, воспитанные в монастырях, подвергают свою нравственность серьезной опасности»*. При этом отметим, что последнее умозаключение имеет в точности такую же форму, как и предыдущее, хоть это и не сразу заметно. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно переписать посылки и заключение следующим образом:

— юным читательницам романов угрожает опасность в нравственном отношении;

— девушки, воспитанные в монастырях, являются юными читательницами романов; из чего следует, что

— девушкам, воспитанным в монастырях, угрожает опасность в нравственном отношении.

Буквы M, P и S в этом случае соответственно заменены на «юные читательницы романов», «угрожает опасность в нравственном отношении» и «девушки, воспитанные в монастырях».

Из этого следует, что грамматика нашего языка позволяет нам формулировать предложения таким образом, что не всегда возможно точно установить, о чем мы говорим и что мы об этом говорим. А значит, мы либо строим неправильные умозаключения, либо не понимаем, что можно вывести из той или иной посылки. Возвращаясь к нашему примеру, можно констатировать, что из следующего предложения: *«девушки, которые читают романы, подвергают свою нравственность серьезной опасности»* мы благодаря добавленной посылке можем заключить как то, что *девушкам, воспитанным в монастырях, угрожает опасность в нравственном отношении*, так и то, что *книги Бальзака вредны для нравственности девушек*. Это означает, что одна и та же фраза не является логически ясной — «логически» здесь отсылает к роли, которую она может играть в правильных умозаключениях.

Логическая система Аристотеля

Из этих соображений вытекает необходимость задаться вопросом о том, что, собственно, делает предложение повествовательным (то есть способным быть истинным или ложным), безотносительно к стилистическим ресурсам грамматики; иными словами, необходимость

выявить «логическую форму» высказываний (предложений).

Вышесказанное предполагает, что у Аристотеля имелся свой подход к этому вопросу. Действительно, как уже упоминалось, нам нужно уметь различать «то, о чем говорится, и то, что говорится». В конечном счете любое повествовательное предложение должно состоять по меньшей мере из двух частей: одна из них — то, о чем говорится в данном предложении, а вторая — то, что об этом говорится. Таким образом, Аристотель пришел к убеждению, что все предложения служат лишь для того, чтобы соединять (или разделять) свойство, грамматически обозначаемое сказуемым, с «субъектом», грамматически обозначаемым подлежащим, при помощи глагола «быть», который играет роль связки. Итак, если мы желаем продемонстрировать это непосредственно в способе выражения, то нам потребуются применить к нашим предложениям форму «S есть / суть P», в которой S обозначает «субъект», а P — «предикат». Именно это мы и сделали (отчасти), записав фразу *«девушки, которые читают романы, подвергают свою нравственность серьезной опасности»* в следующем виде:

— юные читательницы романов (= S) / находятся / в опасности в нравственном отношении (= P).

Однако это же предложение может быть записано в своем начальном виде:

— *романы* (= S) / являются / вредными для *нравственности девушек* (= P).

Зачастую при построении умозаключения добавляемые нами посылки и выводимое из них заключение достаточно четко определяют, какова правильная форма одной или нескольких неоднозначных посылок, однако при более сложном образовании умозаключения можно ошибиться в его правильности. Такого рода неоднозначностью пользовались искусные риторы, чтобы провести малосведущих людей. Как известно, в Греции VI–V веков до н. э., и особенно в Афинах, так называемые софисты обучали подобным хитростям всех желающих, и Аристотель взялся за создание собственной логической системы именно для того, чтобы разоблачить эти хитроумные приемы.

Таким образом, деятельность логика, будь то Аристотель или Фреге, включает в себя две части: в первую очередь он должен определить правильные «логические формы» высказываний и наделить их языковым выражением. Другими словами, ему нужно сделать то, что называют логическим анализом языка. С точки зрения Аристотеля, все повествовательные предложения являются предикативными и правильные грамматические структуры имеют ядром «S есть P», которое, в свою очередь, принимает четыре формы в зависимости от «количества» и «качества» суждения (традиционный термин, который

мы используем здесь в качестве синонима «высказывания»): либо мы отнесем P ко *всем* S или к *некоторым* S (количество), либо утверждаем или отрицаем, что P относится ко всем / некоторым S (качество). Итак, имеются следующие четыре формы суждений: «все S есть P » (общеутвердительные), «все S не есть P » (общеотрицательные), «некоторые S есть P » (частноутвердительные) и, наконец, «некоторые S не есть P » (частноотрицательные): все, что мы говорим истинного или ложного, должно отображаться посредством одной из этих четырех логических форм.

По выполнении этой предварительной работы, согласно Аристотелю, становится возможным выявить формы правильных умозаключений, в коих в качестве посылок и заключения будут выступать суждения, каждое из которых будет иметь одну из четырех форм (необязательно одинаковую). Вышеприведенный пример имеет следующую форму:

- все M есть P
- все S есть M , следовательно:
- все S есть P ,

которая являет собой первый и самый известный модус первой фигуры «силлогизмов» Аристотеля; в Средние века этому модусу было дано женское имя *Barbara*. Таким образом, Аристотель открыл четырнадцать модусов силлогизмов, каждый из которых имеет внешнее сходство

с *Barbara* и которые отличаются друг от друга качеством и количеством входящих в них суждений, а также расположением в двух посылках трех терминов (M, S, P).

Более двух тысяч лет логическая система Аристотеля и открытые им силлогизмы практически не подвергались пересмотру. А самое главное — несомненным представлялся тот факт, что, используя одну из четырех вышеуказанных форм, можно выразить абсолютно все, даже если это приводит к возникновению формулировок с грубыми стилистическими погрешностями.

Для того чтобы нагляднее продемонстрировать, сколь важны были для философии изменения, привнесенные в логический анализ Фреге и Расселом, позволим себе сказать еще несколько слов о философских последствиях анализа, разработанного стариком Аристотелем.

Последствия для метафизики

Многочисленные проблемы, волновавшие умы философов, возникают из следующего размышления: если признается, что формой-ядром любого повествовательного предложения выступает Субъект — связка — Предикат, то более-менее осознанно предполагается, что эта форма совпадает со структурой самой реальности так,

что это соответствие между формой предложения и структурной реальностью обеспечивает предложению *возможность* быть истинным. Это означает, что если мы следуем аристотелевской логике, то мы признаём, что реальность по сути состоит из «вещей», которые обладают или не обладают какими-либо свойствами. Речь в данном случае идет не о языке, но о метафизическом тезисе, касающемся структуры сущего в целом. Так от логики мы переходим к онтологии, то есть к учению о бытии как таковом.

Для более глубокого понимания последствий этого перехода от логики к онтологии в рамках аристотелевской традиции и вытекающих из него проблем следует вернуться к тому, что побудило Аристотеля разработать свой логический анализ. Моделью повествовательного предложения, которой руководствовался Аристотель, была модель наподобие «Сократ является человеком», то есть предложение, субъектом которого является имя собственное, а предикатом — общее название, имя нарицательное.

Особенность такого рода предложения состоит, по-видимому, в следующем: имя собственное обозначает непосредственно предмет в мире, ограниченный во времени и пространстве, который дан в опыте, то есть действительно воспринимается нами. Разве познание мира не начинается с познания совокупности единичных

предметов, расположенных во времени и пространстве? Мы можем присвоить этим «предметам» имена собственные таким образом, что сказанное нами будет напрямую связано с реальностью.

Именно в отношении этих предметов мы нечто утверждаем (или отрицаем), и то, что мы о них говорим, по всей видимости, относится и к другим предметам. В самом деле, разве не очевидно, что предметы, познаваемые посредством опыта, иногда схожи друг с другом по некоторым признакам? Сократ имеет сходство с Платоном, Алкивиадом, Кориском и многими другими по множеству признаков, свойственных понятию «человек»: у него две ноги, на его теле отсутствуют перья, он умеет говорить, живет в обществе и т. д. И наоборот, мы никого не назовем Сократом, кроме самого Сократа, и это просто означает, что мы помним, как его зовут.

Таким образом, достаточно легко прийти к мысли, что в конечном счете в реальности существуют единичные *субстанции*, обладающие общими *свойствами* с другими единичными субстанциями. Правильность формы-ядра «S — P» обусловлена именно тем, что она отражает основополагающую структуру реальности. Это дает нам уверенность в том, что то, что мы говорим, по крайней мере может быть истинным.

Однако здесь-то начинаются проблемы, над которыми со времен Античности размышляли философы-метафизики. Мы упомянем лишь о наиболее интересных из этих проблем.

Первая и самая известная из них в Средние века была названа проблемой универсалий. В чем она заключается? Особенность примера предложения, от которого, возможно, отталкивался Аристотель, — *«Сократ является человеком»* — состоит в том, что, находясь в позиции субъекта, имя собственное единичной субстанции, как легко понять, не может встать на место предиката. Однако речь идет не о самом распространенном типе повествовательного предложения. В каком-нибудь научном трактате мы с большей вероятностью встретим предложения типа *«лошадь является непарнокопытным животным»*, или *«фотон является элементарной частицей»*. Впрочем, Аристотель придерживался того мнения, что наука должна содержать лишь такого рода предложения, поскольку она должна быть направлена на всеобщее.

Каким образом тогда понять, как обстоит дело с субъектом в этих предложениях? Вполне понятно, что *«лошадь»* находится в позиции предиката в таком предложении, как *«Буцефал является лошадью»*, и что в этом случае *«лошадь»* обозначает свойство единичной субстанции. Од-

нако что же происходит, когда «лошадь» встает в позицию субъекта? Если мы позволим ввести себя в заблуждение схожестью ролей, которые играют слова «Буцефал» и «лошадь» в обоих предложениях, то придем к выводу, что «лошадь» обозначает того же рода субстанцию, что и «Буцефал». Как ни странно, Аристотель отметил, что, в отличие от слова «лошадь», слово «Буцефал» не может быть предикатом, в то время как лошадь может быть субъектом и предикатом, но Аристотель не осознал, что из этого следует коренное различие между предложениями «Буцефал является лошастью» и «лошадь является непарнокопытным животным». Более того, силлогистика рассматривала предложения только второго типа, хотя Аристотель брал за образец предложения с субъектом, выраженным именем собственным. Таким образом, Аристотель был вынужден признать, что «лошадь» обозначает нечто такое, что пусть и в «меньшей степени» является субстанцией, чем то, что обозначает слово «Буцефал», но все-таки ею является: Аристотель полагал, что существуют не только первые субстанции (индивиды), но и вторые субстанции (виды и роды).

Но отсюда возникает масса неразрешимых метафизических проблем: какой тип реальности имеют эти вторые субстанции (также называемые универсалиями)? Существуют ли они отдельно от первых субстанций или только

в них? Являются ли они умопостигаемыми реальностями, порождением разума, или простыми именами, которые мы даем единичным субстанциям?

Этой совокупности проблем отвечают проблемы, касающиеся первых субстанций. Что же можно сказать на их счет? Как они связаны со свойствами, которые им приписывают? В самом понятии субстанции словно чувствуется отголосок того места грамматического субъекта, которое занимают имена собственные в предикациях: так же, как к *одному* грамматическому субъекту могут относиться несколько предикатов, так и субстанция «носит» приписываемые ей свойства, не переставая быть тождественной себе.

Однако очевидно, что Буцефал является неукротимым не таким же образом, каким тот же Буцефал является лошастью. В первом случае речь идет о вторичном свойстве, которым Буцефал может не обладать, оставаясь при этом лошастью; к тому же известно, что Александру Македонскому удалось его укротить! Напротив, тот факт, что Буцефал является лошастью, а не страусом или дождевым червем, по-видимому, характеризует его глубже. Мы признаем, что в первом случае имеем дело со *случайным* свойством, а во втором — с *необходимым* свойством. Следовательно, единичная субстанция обладает такими свойствами, без которых она не являлась бы тем, чем является, а также другими свойства-

ми, которые данная субстанция может иметь или не иметь, что никак на ней не скажется! Так мы подходим к отличению *сущности* субстанции (того, что делает ее такой, какая она есть) от того, что является для нее *случайным*, то есть того, чем она может быть или не быть, оставаясь при этом тождественной себе.

Тогда в чем заключаются отношения между субстанцией и ее сущностью? Идет ли речь о тождестве? Но это означало бы, что связка выражает тождество. Что же выражает связка, когда мы имеем дело со случайной предикацией? Как различить два значения связки?

Подобные соображения приводят к представлению о субстанции как о мешке или коробке, в которой оказались заперты свойства, являющиеся самым «сокровенным», «глубинным», «внутренним», что у нее есть; тогда как на «видимой» поверхности она носит свойства, остающиеся внешними для нее, которые можно отделить от нее, не оказав никакого влияния на ее существование. Предикация, выражающая необходимые свойства, вводит нас в глубь субстанции, в то время как предикация, выражающая случайные свойства, не позволяет, так сказать, проникнуть в суть вещей. Как понимать такого рода метафоры, означают ли они что-либо вообще? Таков вопрос, мучивший умы великих философов на протяжении многих столетий.

Наконец, затронем последний узел проблем. Если назначение любого повествовательного предложения состоит в том, чтобы приписать субстанции или, если угодно, предмету свойство — случайное или необходимое, — то каким образом мы можем объяснить себе *связи*, существующие между этими самым субстанциями? В качестве примера возьмем одну из важнейших связей — причинно-следственную. Говоря, что А есть причина В, я хочу указать на наличие определенной связи между А и В. В аристотелевских терминах я должен буду переформулировать эту фразу, чтобы выявить подобную связь как свойство А или В, или обоих одновременно. Это приведет к следующим формулам: А есть причина В, или В есть следствие А. Поскольку речь идет о том, что «причина В» — это свойство А, возникает вопрос: необходимое это свойство или случайное? Предположим, что речь идет о необходимом, научно установленном свойстве. Это означает, что «в» А, «внутри» А, содержится некое подобие «(причинной) силы», под действием которой А обязательно предшествует В, или, если угодно, А не было бы А, если бы А не породило В. Из этого следует, что исчерпывающее знание об одной «причине» А должно привести к знанию о том, что А обладает силой породить В, и это знание возникает раньше констатации того, что В действительно было порождено.

Как известно, именно против такого представления о причинности восстал Юм, а также вся наука после Галилея. Однако подобное осмысление причинности является прямым следствием предпочтения, отданного форме-ядру «S — P» и его онтологическому истолкованию.

Вообще невозможность отвести надлежащее место формулировкам причинных отношений значительно осложнила сосуществование философского дискурса и математизированной науки: любой «закон» вроде знаменитого закона Галилея $e = \gamma t^2$ записан в виде уравнения и лишь выражает некоторые отношения, существующие между его параметрами — пройденным путем, временем и ускорением. Подобный закон ровным счетом ничего не сообщает о какой-либо субстанциональной реальности, а потому, разумеется, не может быть выражен в виде формы «S — P». Для многих философов это означает, что современная наука полностью отказалась от намерения постигнуть сущность вещей и мира, так сказать, «посмотреть в корень вещей» и что она ограничивается их поверхностным описанием. Отсюда вытекает досадное расхождение между философией и точными науками, которое, очевидно, во многом обусловлено тем, что многие философы, подчас бессознательно, остаются верны устаревшему логическому анализу Аристотеля и всем онтологическим следствиям этого анализа.

Итак, мы вкратце изложили три примера метафизических проблем, с которыми сталкивались начиная со времен Античности большинство великих философов, разделявших принципы аристотелевского логического анализа. Оставим в стороне вопрос о том, почему Аристотель остановился на форме-ядре «S — P»: вследствие онтологии, связанной с субстанцией, или же, наоборот, эта онтология является не более чем проекцией анализа предложений на бытие. Достаточно лишь отметить наличие тесной связи между двумя областями — логическим анализом высказывания, претендующим на истинность, и онтологии, — чтобы понять, что изменение логического анализа непременно выявит ложность определенного числа проблем и связанных с ними метафизических построений, наподобие тех, о которых упоминалось выше.

«Новая» логика и «критика языка»

В чем же состояли привнесенные Фреге и Расселом изменения? Для понимания их значения необходимо вкратце объяснить смысл слов, написанных Фреге в его первой работе, опубликованной в 1879 году, в которой всего на десяти страницах была изложена суть «новой» логики: «Я полагаю, в частности, что замена понятий *субъект*

и предикат на понятия *аргумент* и *функция* соответственно выдержит испытание временем».

Доверившись мнению Плутарха, предположим — для целей дискуссии, — что следующее предложение истинно: «*Демосфен является таким же хорошим оратором, как Цицерон*». Согласно учению Аристотеля, это высказывание содержит субъект, то есть в данном случае — имя собственное *Демосфен*, и предикат, то есть — «*такой же хороший оратор, как Цицерон*», соединенные между собой связкой; все в целом означает, что «субстанция», обозначенная именем собственным, имеет свойство, выраженное предикатом. Однако с тем же успехом можно признать, что это предложение состоит из субъекта «*Цицерон*» и предиката «*такой же хороший оратор, как Демосфен* или даже из двух субъектов, «*Демосфен*» и «*Цицерон*», и предиката «*такой же хороший оратор, как*». В последнем случае мы имеем дело с предикатом, которому неведома аристотелевская логика, а именно предикатом, выражающим отношение между двумя предметами, а не свойство предмета.

Ничто в грамматической структуре этого предложения не навязывает именно такой вывод, а не другой. Для определения точного смысла предложения нам нужно учитывать контекст, в котором оно употребляется. Например, встретив его в одной из биографий Цицерона, мы ре-

шим, что оно приписывает ему свойство (свойство быть таким же хорошим оратором, как Демосфен); и наоборот, мы поймем совсем иное, если это предложение будет фигурировать в биографии Демосфена. Если же мы прочитаем подобное предложение в книге о великих ораторах Античности — в коей предпринята попытка их классификации, — то придем к выводу, что Демосфен и Цицерон были равно хорошими ораторами, и т. п.

Разные результаты анализа структуры одного и того же предложения выявили разные предикаты на одном или двух местах. Мы увидели, что путем позиционных изменений в данном предложении можно различить два вида компонентов. Предикат *«такой же хороший оратор, как Демосфен»* появляется, если представить, что на место слова *«Цицерон»* можно поставить слова *«Исократ»* или *«Перикл»*, оставив неизменной остальную часть предложения; аналогичным образом предикат *«такой же хороший оратор, как»* выявляется, если мы признаем, что можем заменить два имени собственных — *«Демосфен»* и *«Цицерон»* на другие — *«Фокион»* и *«Горгий»* или *«Исократ»* и *«Перикл»*. При этом каждый раз мы отмечали, что в предложении имеется одна неизменяемая часть и одна или несколько изменяемых частей, демонстрируя различие ролей, которые играют те и другие.

Итак, из вышеизложенного следует, что необходимо различать выражения, самостоятельно обозначающие определенные предметы, и выражения, которым словно требуется быть дополненными выражениями первого типа. Другими словами, мы имеем дело либо с именами собственными, такими как «*Цицерон*» или «*Исократ*», либо с тем, что Рассел называл пропозициональными функциями, — «*такой же хороший оратор, как*», — которые лучше записывать при помощи «переменных»: «*x такой же хороший оратор, как у*», причем x и y могут быть заменены только именами собственными. Таким образом, «пропозициональная функция» — это выражение, которое становится суждением вследствие подстановки вместо «переменных» имен собственных. Ясно, что в пропозициональной функции может содержаться любое количество аргументов.

Одноместные пропозициональные функции (с одним аргументом) — эквиваленты тому, что обычно зовется свойствами (или понятиями), а многоместные (с двумя и более аргументами) — эквиваленты тому, что обычно зовется отношениями. Элементарные суждения (почему они являются элементарными, мы увидим позже) можно записать в виде следующих формул: $F(a)$, $G(b, b')$, $H(c, c', c'')$ и т. п., в которых наряду с пропозициональными функциями $F(x)$, $G(y, y')$,

$H(z, z', z'')$ присутствуют имена собственные предметов a, b, b' и т. д.

Использование понятия «функция» оправдано по следующей причине: в математике, например, говорят, что x^2 есть функция, которая умножает каждое число на само себя; если подставить на место « x », к примеру, имя числа 4, получится имя другого числа — в данном случае 16. Тогда говорят, что функция x^2 принимает значение, равное 16, при значении аргумента, равного 4. Аналогичным образом функция « *x такой же хороший оратор, как*» принимает истинностное значение «истинно» (по Фреге) или значение «*Демосфен такой же хороший оратор, как Цицерон*» (по Расселу) при значениях аргументов «*Демосфен*» и «*Цицерон*». Итак, пропозициональная функция придает одному или нескольким аргументам значение истинности (то есть истинно или ложно, согласно Фреге) или (следуя Расселу) пропозицию (истинную или ложную).

Логика и грамматика

На основе всего вышеизложенного можно понять, как поверхностная грамматика естественного языка маскирует «истинную» логическую форму предложений, обнаруживая при

этом ограниченность аристотелевской логики. Сравним два внешне похожих предложения «*Цицерон является хорошим оратором*» и «*трибуны являются хорошими ораторами*». Эти предложения имеют одинаковую грамматическую структуру, и все их отличие состоит в том, что подлежащее в единственном числе «*Цицерон*» в первом предложении было заменено на подлежащее во множественном числе «*трибуны*» во втором. Поэтому может показаться, что в первом из них говорится о Цицероне то же, что во втором — о трибунах в целом. Как уже отмечалось, Аристотель — а вслед за ним и вся традиционная логика — придерживался именно такой точки зрения, несмотря на то что она порождала явные метафизические проблемы, о которых упоминалось ранее.

Логический анализ, разработанный Фреге и Расселом, приводит к совершенно иному выводу. Первое предложение можно проанализировать следующим образом: «*Цицерон / является хорошим оратором*» — и записать в символической форме $F(a)$. Во втором же предложении отсутствует имя собственное, и потому это предложение не может иметь форму «функция / аргумент». Какова же его форма?

Прежде всего, нужно отметить, что слово «*трибуны*» может содержаться в пропозициональной функции (в понятии) «*x является трибуном*», не обозначающей никакого конкретного

предмета, но способной превратиться в истинное или ложное высказывание при подстановке вместо *x*, например, имени *Цицерон*. Итак, мы видим, что «*трибуны*» по своей логической природе схожи с «*является хорошим оратором*»; речь идет о двух понятиях, и, соответственно, предложение выражает не только то, что предмет обладает неким свойством (или, как говорят логики, «подпадает под то или иное понятие»), но и то, что между этими двумя понятиями существует определенное отношение. Какое именно? Для того чтобы выявить тот факт, что речь идет о двух понятиях, запишем предложение следующим образом: «*то, что является трибуном, является хорошим оратором*» или, точнее: «*все, что является трибуном, является хорошим оратором*». «*То, что*» указывает здесь на какой-либо предмет: такую-то лошадь, такую-то звезду, такой-то фотон — на все что угодно, — и мы говорим, что если предмет, каким бы он ни был, обладает свойством быть трибуном (подпадает под понятие «*x является трибуном*»), то он также обладает свойством быть хорошим оратором (подпадает под понятие «*x является хорошим оратором*»). Рассмотрим совокупность предметов, которые подпадают под понятие «*x является трибуном*», и совокупность предметов, которые подпадают под понятие «*x является хорошим оратором*». Из предложения следует, что первая совокупность предметов «включена» (как гово-

рят математики) во вторую. В этом случае считают, что понятие, соответствующее первой совокупности предметов, *подчинено* понятию, соответствующему второй совокупности. Такого рода предложение может быть записано в следующем виде: *при любом x , если $F(x)$, то $G(x)$* .

А теперь вернемся к предложению «*Цицерон является хорошим оратором*». Оно означает, согласно введенной ранее терминологии, что Цицерон обладает свойством быть хорошим оратором или, если угодно, подпадает под понятие « *x является хорошим оратором*». Другими словами, это значит, что Цицерон *принадлежит* (опять-таки, как говорят математики) к совокупности предметов, которые подпадают под понятие « *x является хорошим оратором*».

Можно ли спутать эти два значения глагола «являться»: то, которое позволяет говорить, что конкретный предмет подпадает под то или иное понятие (принадлежит к совокупности), и то, которое позволяет говорить, что одно понятие подчинено другому понятию (или что одна совокупность включена в другую)? Разумеется, нет! Для того чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на то, что лишь во втором случае мы имеем дело с *транзитивным* отношением. Второе отношение называется транзитивным потому, что, к примеру, из посылок «*трибуны являются хорошими ораторами*» и «*хорошие ораторы являются народными вождями*» можно за-

кономерно заключить, что *«трибуны являются народными вождями»* (что в действительности представляет собой лишь пример силлогизма типа *Barbara*).

Для того чтобы доказать, что это не работает в случае с первым отношением, необходимо ввести еще одно различие. Вернемся к Цицерону; можно принять во внимание тот факт, что какое-либо свойство является одним из свойств, которыми обладает Цицерон, — именно так мы и поступаем, например, когда задаемся вопросом о том, имеются ли у Демосфена все те же свойства, что и у Цицерона. Одно из них — быть хорошим оратором. В таком случае можно сказать, что свойство быть хорошим оратором является одним из свойств Цицерона или, если угодно, что *«х является хорошим оратором»* попадает под понятие *«Х является понятием, под которое подпадает Цицерон»*. Таким образом, *«Х является понятием, под которое подпадает Цицерон»* — это довольно странное понятие, под которое подпадают не предметы, но понятия. Условимся именовать *понятиями первого уровня* понятия, под которые подпадают предметы, а *понятиями второго уровня* — понятия, под которые подпадают понятия первого уровня. Отношение, существующее между понятием первого уровня и понятием второго уровня, аналогично отношению, существующему между предметом и понятием первого уровня.

Итак, вернемся к нашему делу. Признавая, что Демосфен является хорошим оратором и что быть хорошим оратором — это свойство Цицерона, мы ни в коей мере из этого не заключим, что Демосфен является свойством Цицерона! Отношение, называемое математиками отношением принадлежности, не является транзитивным, в отличие от отношения включения, чего не осознавал Аристотель, считавший, что глагол «являться» выражает один и тот же тип связи в предложении «*Цицерон является хорошим оратором*» и в предложении «*трибуны являются хорошими ораторами*».

Впрочем, можно обнаружить еще одно значение глагола «являться». В предложении «*Август является первым римским императором*» может показаться, что «*первый римский император*» — свойство, которым обладает Август. Однако это не так. «*Первый римский император*», естественно, обозначает не свойство, но совершенно конкретного человека, который обладает свойством быть первым римским императором (их может быть и больше, как порою случается в автогонках!). Иначе говоря, «*первый римский император*» является именем предмета и называет тот же самый предмет, на который указывает слово «*Август*». Таким образом, в данном предложении говорится не о том, что Август обладает тем или иным свойством, но что Август и первый римский император суть одно и то же лицо.

Следовательно, глагол «являться» означает здесь *тождество*, а не обладание неким свойством.

Разумеется, сложно не угодить в ловушки, расставленные грамматикой обыденного языка, именно поэтому «дело логики по большей части и состоит как раз в борьбе с логическими недостатками языка» — писал Фреге¹, которому вторит Витгенштейн в своем «Трактате»: «Вся философия есть „критика языка“, поскольку, — добавляет он, ссылаясь на Рассела, — кажущаяся логическая форма предложения не обязана быть его действительной логической формой»².

Фреге неоднократно отмечал, упрекая Аристотеля в том, что тот поддался обману со стороны грамматики, что логическая форма «S — P» по сути является лишь отражением базовой структуры предложений обычных языков. Поэтому, когда мы переформулируем предложения так, чтобы подогнать их под вышеупомянутую аристотелевскую форму, мы не выходим за пределы обычного языка; хотя получившиеся у нас предложения, бесспорно, не отличаются стилистическим изяществом, они все же остаются

¹ *Frege G. Écrits Posthumes* (trad. française sous la dir. de Ph. de Rouilhan et C. Tiercelin, Nimes : Ed. J. Chambon, 1999). P. 298 [*Фреге Г. Логика и логическая семантика: Сборник трудов / Пер. Б. В. Бирюкова. М.: Аспект Пресс, 2000*].

² *Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 4.0031. С. 74.*

предложениями, написанными на естественном языке (французском, итальянском и т. д.). С новым логическим анализом, введенным Фреге и Расселом, дело обстоит по-другому: открытые ими формы не имеют естественных эквивалентов в грамматиках наших языков.

Отсюда возникла необходимость в создании искусственной символики, «грамматика» которой будет логически ясной; то есть речь идет о символике, которая позволила бы выявить логическую форму высказывания непосредственно в ее выражении, созданном при помощи символов. Такого рода символика свободна от многозначностей, присущих естественным языкам. Вышеприведенные примеры позволяют понять, что имеется в виду. Записать логическую форму предложения вроде «*Цицерон является оратором*» можно так: *Оратор (Цицерон)*, что является компонентом формы $F(a)$, в которой $F \rightarrow \text{Оратор}$, $a \rightarrow \text{Цицерон}$. Напротив, предложение «*трибуны являются ораторами*» будет записано следующим образом: *при любом x , если Трибун (x), то Оратор (x)*, что является компонентом формы *при любом x , если $G(x)$, то $F(x)$* . В этом случае хорошо видно, что речь идет о предложениях с разными логическими формами, вследствие чего исключается путаница между логическими ролями слова «*Цицерон*» и слова «*трибуны*».

Итак, мы видим, что в основе реформы логики, предпринятой Фреге и Расселом, лежала идея, являющаяся важной для понимания сути «Трактата» (и не только его одного: она во многом определила развитие так называемой англосаксонской аналитической философии); согласно этой идее, «за» языками или «внутри» них (рискованные метафоры!) скрыта логика, которую требуется выявить, причем отыскать ее выражение в естественном языке не представляется возможным, однако его можно найти в языке искусственном. Отсюда следует, что необходимо использовать систему символов во избежание путаницы, в которую нас вовлекают естественные языки. Мы должны переводить в символы любое наше высказывание. При этом, возможно, обнаружится, что некоторые предложения (например, из области метафизики) нельзя подвергнуть подобному преобразованию, из чего вытекает, что они имеют изъяны с логической точки зрения, а значит, бессмысленны так же, как бессмысленны грамматически неправильные предложения. Этот перевод на язык символов совершили математики Фреге и Рассел (совместно с математиком и философом Уайтхедом). Понятно, что подобная система символов совершенно не приспособлена для написания любовных записок или стихов, восхваляющих красоту природы...

Новая отправная точка: предложение

Настало время изучить другой аспект выше-указанной реформы логики, который не менее важен для понимания работы Витгенштейна, — речь идет о приоритете предложения перед его членами.

Возьмем на сей раз в качестве примера следующее предложение: «*киты являются млекопитающими*». Традиционно считалось, что подобное предложение построено путем соединения с помощью логической связки двух понятий: «*кит*» и «*млекопитающие*». Это возможно лишь в том случае, если вначале мы образовали эти понятия (по-видимому, посредством «абстрагирования»), а затем задались вопросом о том, как связано понятие «*кит*» с понятиями «*рыба*» или «*млекопитающие*». Суждение «*киты являются млекопитающими*» будет истинным при условии, что эта же связь обнаруживается в реальности. Вот как Аристотель определяет истинность и ложность суждения:

«Истинно утверждение относительно того, что на деле связано, и отрицание относительно того, что на деле разъединено; а ложно то, что противоречит этому разграничению»¹.

¹ Аристотель. Метафизика / Пер. А. В. Кубицкого // Аристотель. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1976. Т. 1, Е, 4, 1027b 20.

Отсюда повелось, что авторы трактатов по традиционной логике начинали с изучения образования понятий (или «идей», согласно Декарту и его последователям) и только потом приступали к изучению суждений. Такой подход связан с широко распространенным тезисом о том, что логическая связка выполняет функцию соединения и даже более того — *объединения* двух терминов суждения в единое целое. Кстати, стоит заметить, что подобная точка зрения приводит к очередной неразрешимой проблеме: как можно объединить в суждении то, что может существовать, лишь оставаясь отделенным. Перед нами одно из проявлений старой проблемы единичного и множественного: суждение связывает воедино то, что является множественным.

Как уже отмечалось, Фреге перевернул эту очередность. Отправной точкой становится предложение, истинное или ложное, а затем с помощью логического анализа определяются так называемые понятие или отношение. При этом, как мы видели, *a priori* отсутствуют предположения относительно понятий или отношений, участвующих в образовании предложения (суждения). Попытаемся проиллюстрировать эту мысль с помощью примера из области элементарной арифметики: возьмем равенство $3^2 = 9$. Если считать константой $x^2 = 9$, выявляется понятие «*квадратный корень из девяти*»

(под которое подпадают 3 и -3). Если считать константой $x^2 = y$, выявляется отношение «*квадратный корень из*». Если считать константой $3x = 9$, выявляется понятие «*логарифм 9 по основанию 3*», и т. д. Следовательно, мы уже не можем сказать, например, что суждение $3^2 = 9$ истинно, так как в этой формуле говорится, что 3 имеет свойство быть квадратным корнем из 9, поскольку можно с той же легкостью утверждать, что формула является истинной, так как в ней говорится в отношении 3 и 9, что первое число — квадратный корень из второго числа, и т. д. Аналогичным образом предложение «*Демосфен является таким же хорошим оратором, как Цицерон*» не может расцениваться как истинное, так как в нем говорится в отношении Демосфена, что он обладает свойством быть таким же хорошим оратором, как Цицерон, поскольку можно было бы также назвать его истинным, так как в нем говорится о том, что Демосфена с Цицероном связывает то отношение, что они оба являются хорошими ораторами, и т. д.

Грубо говоря, истинность или ложность предложения не зависит от того, что в нем утверждается или отрицается о некоем предмете. Единственное, что можно сказать: предложение «*Демосфен является таким же хорошим оратором, как Цицерон*» истинно, потому что Демосфен и вправду такой же хороший оратор, как Цицерон, — что не слишком утешительно! Следуя

Расселу, это предложение является истинным на основании определенного факта, а точнее, факта, который мы можем выразить либо сказав, что Демосфен — такой же хороший оратор, как Цицерон, либо сказав, что Цицерон — такой же хороший оратор, как Демосфен, либо сказав, что среди равноценных ораторов, помимо прочих, были Демосфен и Цицерон, и т. п.

Что касается Фреге, то он сделал вывод, что истинное неопределимо: «Истина есть нечто столь примитивное и простое, что ее невозможно свести к чему-то еще более простому», — писал он¹. Витгенштейн в своем «Трактате» как раз попытался изложить теорию, позволяющую понять, что значит для предложения быть истинным или ложным.

Использование предложения в качестве отправной точки имело и другое, более техническое последствие. Это привело Фреге к тому, чтобы выявить и теоретически разработать логические отношения, существующие между предложениями независимо от их внутренней структуры. Исходя лишь из того факта, что предложения могут быть либо истинными, либо ложными, оказывается возможным соединять их при помощи союзов «и», «или», «ни... ни...», «если...

¹ *Frege G. Écrits Posthumes. P. 152.*

то...» и т. д., так что истинность или ложность полученных таким образом предложений (которые мы будем называть *молекулярными*)¹ зависит только от истинности или ложности предложений, входящих в их состав. Например, сложное предложение «*Цицерон раскрыл заговор Катилины, и Катилина погиб в битве при Пистории*» состоит из двух предложений: «*Цицерон раскрыл заговор Катилины*» и «*Катилина погиб в битве при Пистории*». Такого рода молекулярное предложение истинно лишь тогда, когда оба составляющих его предложения также истинны. Таким образом, из молекулярного предложения можно *вывести* каждое из двух составляющих его предложений: если первое истинно, то и каждое из двух других истинно. Следовательно, существуют умозаклучения, правильность которых основывается лишь на вышеприведенных словах-связках (которые обычно называются *пропозициональными связками*). Наиболее распространенная форма умозаклучения выглядит следующим образом (греческими буквами ϕ и ψ обозначаются любые предложения):

¹ Франсуа Шмитц использует словосочетание «молекулярное предложение» (или «сложное предложение») как по отношению к логике Г. Фреге, так и при пересказе идей Витгенштейна. Сам Витгенштейн в «Логико-философском трактате» не употребляет этого термина. Он пишет просто о «предложениях» и о составляющих их «элементарных предложениях». — *Примеч. ред.*

если ϕ , то ψ ; ϕ значит ψ .

Аристотель не принял в расчет этот уровень логики, тогда как стоики его систематически исследовали. Однако их работы, посвященные этому вопросу, были оставлены без внимания, а то и вовсе забыты, вследствие чего традиционная логика ограничилась в основном силлогистикой, безуспешно пытаясь изучать в ее рамках крайне немногочисленные умозаключения, наподобие тех, о которых только что упоминалось. В скором времени нам представится возможность подробнее разобрать ряд особенностей этой «пропозициональной логики», которые выявил и философски осмыслил Витгенштейн в «Трактате».

В целом, искусственный язык логики, который были вынуждены создать Фреге с Расселом, можно представить следующим образом.

В качестве исходной точки мы возьмем элементарные предложения, например: «Поль добрый», «Тулуза находится южнее Парижа», «Жюльену Матильда нравится больше, чем мадам де Реналь», «Помпиду приходится де Голлю тем же, кем Наполеон III приходится Наполеону I» и т. д. Как мы видим, эти предложения имеют формы $R1(a)$, $R2(a, b)$, $R3(a, b, c)$, $R4(a, b, c, d)$ и т. д. Из этих элементарных предложений можно образовать новые предложения двумя способами.

Прежде всего, мы можем соединить элементарные предложения посредством пропозициональных связок и таким образом получить предложения, которые именуются *молекулярными*, например: «**Если** Тулуза находится южнее Парижа, **то** Поль добрый», или «Поль добрый, **и** Жюльену Матильда нравится больше, чем мадам де Реналь», и т. д. Формы этих предложений таковы: *если p, то q* и *p и q*. Буквы *p* и *q* обозначают элементарные предложения.

Кроме того, из элементарного предложения можно получить *общие* предложения типа: «*при любом x Жюльену x нравится больше, чем мадам де Реналь*», или «*существует по крайней мере один x, такой, что Жюльену Матильда нравится больше, чем x*», или «*при любом x существует по крайней мере один y, такой, что x приходится у тем же, кем Наполеон III приходится Наполеону I*», и т. д. Общее предложение получают из элементарных предложений посредством подстановки имен собственных, присутствующих в элементарном предложении, на места переменных и добавления в начале предложения выражений («кванторов»): «*при любом x (или y, или z и т. п.)*» или «*существует по крайней мере один x (или y, или z и т. п.)*». Таким образом, каждая переменная должна быть связана кванторами.

Наконец, можно объединить эти два действия и получить предложения вроде: «*при любом x, если x добрый и если x Матильда нравится боль-*

ше, чем мадам де Реналь, то существует по крайней мере один у, такой, что у находится южнее Парижа», или «при любом х, если х добрый, то х достоин уважения», или «существует по крайней мере один х, такой, что х добрый, и при любом у, у Матильда нравится больше, чем мадам де Реналь», и т. д. Таким образом мы можем строить сколь угодно сложные предложения, с той лишь оговоркой, что они должны быть оконченными.

Следует помнить, что «Трактат» является составной частью именно такой концепции «хорошо выстроенного» языка, хотя и содержит резкую критику в ее адрес.

Итак, кратко перечислим достижения «новой логики».

— Логические формы предложений (или суждений) суть формы, которые имеют предложения, как истинные, так и ложные, независимо от всякого рода грамматических украшений; старая логика, в общем-то, более или менее явно признавала это.

— Аристотелевская форма «S — P» является не более чем поверхностной, логически необоснованной грамматической формой; классическая метафизика поддерживает приоритет, незаслуженно отданный этой форме; соответственно, устранение мнимых проблем метафизики осуществляется посредством выявления подлинной логической формы предложений.

— Эти формы не имеют прямых эквивалентов в грамматике естественного языка, которая, напротив, их маскирует; это обусловило необходимость разработки логически «совершенной» системы символов, а также записи с ее помощью того, что мы обычно говорим и что является неясным с логической точки зрения.

— Предложение (как истинное, так и ложное) является отправной точкой исследования; у молекулярных предложений имеются логические формы; существует логика высказываний, которая представляет собой составную часть логики предикатов.

Несколько догматический характер всего вышеизложенного не должен вводить читателя в заблуждение. Новшества, которые ввели отцы-основатели новой логики, побуждают нас отбросить большую часть традиционных проблем философии, связанных с логической системой Аристотеля, но при этом они порождают массу других проблем! Важнейшая из них касается статуса логической формы, а значит, самой логики как науки об этих формах и правильных умозаключениях, на них основанных. Ключевой вопрос заключается в следующем: можно ли сделать эти формы предметом рассуждения, если они являются условием любого претендующего на истинность рассуждения? Витгенштейн написал

«Трактат», желая в том числе ответить именно на этот вопрос. И дал на него четкий ответ: мы не можем и не должны пытаться это сделать.

Ответ Витгенштейна устранил значительную часть философских рассуждений, так как они неосознанно принимают за предмет обсуждения то, что относится к логической форме того, что мы говорим. Подобный вывод выходит далеко за рамки традиционных проблем метафизики, поскольку, становясь в один ряд с новаторской работой Фреге и Рассела, он вместе с тем частично ее аннулирует.

III

«ЛОГИКО- ФИЛОСОФСКИЙ ТРАКТАТ»: ОБРАЗНАЯ ТЕОРИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Что такое образ?

22 января 1915 года Витгенштейн записал в дневнике:

«Моя главная задача состоит в том, чтобы объяснить природу предложения».

Вот какое объяснение предлагается в «Трактате»:

«Предложение — образ (Bild) действительности»¹.

Этот тезис, занимающий центральное место в работе Витгенштейна, возможно, обязан своим появлением одному неоднократно описанному случаю. В сентябре 1914 года, в пору, когда Витгенштейн плавал по Висле, он случайно прочитал журнальную статью, в коей рассказывалось

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 4.01. С. 74.

о происходившем в Париже судебном процессе, поводом к которому послужила автокатастрофа. На судебном заседании адвокат использовал фигурки людей и игрушечные машинки, с помощью которых воссоздал автокатастрофу, желая доступнее и полнее объяснить слушателям суть произошедшего. Каждой его фразе соответствовала определенная расстановка фигурок и машинок, представляющая собой образ произошедшего.

Отсюда возникает вопрос: что позволяет нам *изображать* один факт посредством того, что вначале кажется другим фактом? Факт, который нужно изобразить, содержит предметы — в данном случае автомобили и людей; факт, который изображает первый факт, содержит нечто, что заменяет эти автомобили и этих людей; их роль играют обыкновенные машинки и фигурки, причем каждому элементу изображаемого факта соответствует элемент факта его изображающего. В первоначальном факте эти элементы располагались в пространстве определенным образом: так, что в зависимости от положения смотрящего один элемент находился справа от другого, либо позади него, либо перед ним и т. п. на том или ином расстоянии. Следовательно, машинки и фигурки должны быть так расположены в образе факта, чтобы с того же положения смотрящего они находились в соответствующих местах и на надлежащем расстоянии друг от дру-

га. Наконец, элементы, составляющие первоначальный факт, в целом расположены в пространстве так же, как элементы образа факта; скажем так, и те и другие находятся в евклидовом пространстве. Это значит, что, например, расстояния в этих фактах могут различаться, не влияя на (геометрические) формы.

Итак, существует три уровня:

— уровень «предметов», составляющих изображаемый факт, которым в образе факта соответствуют их миниатюрные аналоги;

— уровень «структуры», состоящий в определенном (пространственном) расположении предметов относительно друг друга. Этот уровень не относится к самим предметам в том смысле, что первые предметы могут быть заменены другими без какого-либо изменения структуры; если образ факта является правильным, в нем обнаруживается та же структура, что и в изображаемом факте, иначе образ факта признается неправильным.

— уровень «формы» — в данном случае пространственной, — которая является общей для обоих фактов, без которой образ факта не мог бы быть правильным или неправильным; по сути, он перестал бы быть образом факта, имевшего место в пространстве. Так, пространственная форма есть *возможность* одной или нескольких отдельных структур первоначального факта и образа факта.

Можно было бы привести и другие примеры — нотную запись или кривизну пространства-времени и т. д. Каждый раз мы обнаруживали бы все те же три уровня, хотя нам пришлось бы сделать дополнительное пояснение относительно правил соответствия. Кроме того, следует отметить, что на парижском судебном процессе можно было бы использовать не машинки и фигурки — которые в силу своего сходства с настоящими автомобилями и людьми могут показаться их естественным соответствием, — но кубиками и небольшими прямоугольными параллелепипедами, с тем условием, что первые обозначают автомобили, а вторые — людей. Применительно к факту, разнесенному во времени (например, к динамике экономического показателя за определенный срок), условие касалось бы пространственного изображения последовательности во времени, и это затрагивало бы не только изображение предметов, но и структурные, и даже формальные аспекты образа.

Представляется необходимым внести уточнения в отношении каждого из вышеуказанных уровней — предметов, структуры, формы. Начнем с промежуточного уровня, то есть с уровня структуры.

Вернемся к примеру с автокатастрофой. Адвокат, которому пришло в голову использовать машинки и фигурки для того, чтобы рассказать о том, что произошло, по всей вероятности, при-

нес их в сумке. Войдя в зал судебных заседаний, он выложил ее содержимое на стол, вследствие чего предметы образовали бесформенную кучу. Эта куча пока ничего не говорит, в ней не заключено никакого смысла. Чуть позже адвокат, желая остановиться подробнее на деталях происшествия, расставил предметы на столе; теперь судья смог что-то понять, а именно — то, каким образом располагались в реальности действующие лица происшествия и автомобили, *если* уменьшенная модель, созданная адвокатом, является правильной.

Разумеется, адвокат может попытаться обмануть аудиторию, расставив предметы неправильно; это значило бы, что автомобили и лица, участвовавшие в автокатастрофе в реальности, располагались относительно друг друга иначе. Тем не менее они могли располагаться и таким образом — это-то и делает возможными бесчестные уловки адвоката! Иными словами, судья понимает, что означает уменьшенная модель автокатастрофы, которую ему представил адвокат, даже если в реальности все происходило по-другому. Просто судья знает, как обстояло бы дело, если бы образ был правильным: та или иная расстановка крошечных предметов показывает, как *могло* обстоять дело. Следовательно, именно структура уменьшенной модели позволяет ей изобразить возможный факт, то есть

положение вещей. Пока предметы лежали кучей, они ничего не изображали, хотя каждая из машинок и фигурок, казалось бы, могла играть роль заменителя того, на что она похожа, в силу именно своего сходства с реальными предметами. Причем сыграть эту роль они могут только в том случае, если их расставить определенным образом.

Структура, благодаря которой изображается положение вещей, как видим, вполне может не соответствовать реальному (фактическому) положению вещей, и адвокат противоположной стороны, вероятно, постарается убедить в этом судью, расположив предметы по-иному. Одни и те же предметы можно располагать и так и сяк — в любом случае это будут расстановки предметов *в пространстве*. Эта совокупность возможностей ограничена лишь тем фактом, что речь идет о *пространственном* расположении предметов, которые сами по себе являются пространственными, то есть, например, два предмета не могут одновременно находиться в одной точке пространства, как в изображаемых положениях вещей, так и в создаваемых нами образах фактов.

В целом, то или иное расположение элементов образа *показывает*, как расположены или могли быть расположены соответствующие им предметы. Поэтому можно сказать, что образ имеет *смысл* в силу наличия у образа опреде-

ленной структуры, независимо от существования или несуществования изображаемого им положения вещей. Мы понимаем смысл образа тогда, когда знаем, как происходило дело, если образ является правильным или, выражаясь более высокопарно, если образ является *ИСТИННЫМ*.

К этому следует также добавить, что, с одной стороны, вышеупомянутая структура представляет собой особый способ соединения *элементов*, которые должны заменять предметы в реальности, а с другой стороны, что эта структура — лишь одна из множества структур, кои может иметь образ: количество потенциальных структур устанавливается и ограничивается определенной *формой*, в данном случае — пространственной.

А теперь рассмотрим два других уровня, начиная с элементов образа. Как правило, автостастрофа сопровождается различным шумом и, к несчастью, травмами ее участников. Предположим, у нас имеется странное желание назвать шум и физическую боль предметами (звуковыми или материальными). Смогут ли эти новые предметы быть включены в *пространственный* образ факта, который создал адвокат для судьи? Разумеется, нет. Конечно, адвокат мог бы взять с собой на судебное заседание магнитофон (что маловероятно для 1914 года!)

и воспроизвести также звуки автокатастрофы, но это не стало бы частью образа, в отличие от расстановки предметов *в пространстве*. Образ как факт, существующий в пространстве и изображающий другой факт, который существовал в пространстве, не содержит ни одного элемента, заменяющего звук или физическую боль не из-за того, что адвокат выпустил нечто из виду, но потому, что в пространстве существуют лишь пространственные предметы, к коим не относятся звук и физическая боль. Хоть это и может показаться банальным, но об этом необходимо упомянуть.

На месте машинок можно легко представить кубики, игрушечные домики или даже чайные чашки. Если мы условимся, что чашка, например, будет заменять автомобиль, образ будет по-прежнему изображать возможный ход событий. Напротив, как указывалось выше, машинку заменить шумом невозможно. Это же замечание относится к предметам, которые могут входить в факт автокатастрофы как в факт, существующий в пространстве. И наоборот, только предметы определенного типа, например «пространственные» предметы, могут входить в пространственные положения вещей. Из этого следует, что некоторые предметы (в широком смысле, который мы отныне придаем этому понятию) обладают общими свойствами, которые проявляются, когда мы изучаем положения вещей, в ко-

их они могли фигурировать. Эти общие свойства можно назвать *формой* предметов, которая определяет, в какие положения вещей они могут входить, а также форму этих положений вещей. «Временной» предмет может входить лишь во временные положения вещей, «физический» — в физические и т. п. К примеру, один физический предмет может быть сильнее по интенсивности, но не может быть ниже другого (одна физическая боль сильнее другой), один пространственный предмет может быть ниже, но не может быть сильнее другого, и т. д.

Итак, вывод о том, что предметы обладают формой, крайне важен. Однако мы вернемся к этому вопросу позже. А пока рассмотрим наши предметы под другим углом.

Как было сказано выше, машинки в приведенном нами примере, заменяли собой «реальные» автомобили, участвовавшие в автокатастрофе. До сих пор мы признавали наличие точного соответствия между игрушечными автомобилями и реальными. А теперь предположим, что это не так, что у одной из машинок отсутствует соответствие среди реальных автомобилей. В этом случае образ стал бы неправильным или ложным, но тем не менее он остался бы образом возможного положения вещей, в котором было бы на один автомобиль больше, чем в реальном положении вещей (факте). Как ни странно, несмотря на то, что лишняя машин-

ка ничего собой не заменяет, образ, скажем так, не утрачивает смысла.

Ранее говорилось, что образ является неправильным, если элементы образа сочетаются в нем иначе, чем сочетаются в реальности предметы, которые они заменяют. Как уже отмечалось, мы можем назвать образ неправильным (ложным), лишь *сравнив* его с реальностью. Именно возможность сравнения составляет смысл образа: зная, какое положение вещей существует, *если* образ истинен, мы можем сравнить его с действительно существующим положением вещей (фактом).

Остановимся подробнее на сравнении образа с реальностью. Прежде всего, мы можем сравнить образ лишь с тем фактом, структура которого схожа со структурой образа, то есть структуру которого сделала возможной та же форма. Например, пространственный образ можно сравнить только с фактом, имеющим место в пространстве. Поэтому, чтобы сравнение стало возможным, реальный факт и образ по крайней мере должны иметь нечто общее — форму; в отсутствие подобного сходства формы никакое сравнение невозможно.

Однако этого не достаточно. В образе определенным образом сочетаются элементы, заменяющие предметы, и именно *эти* конкретные предметы в реальности сочетаются так же, как элементы образа, или как-то иначе. Следова-

тельно, сравнивать образ с реальностью — это значит удостоверяться в том, что именно *эти* предметы, а не другие сочетаются так же, как их заменители в образе, или иначе. Что же происходит, когда одному из элементов образа ничего не соответствует в реальности? В таком случае возможность сравнения с действительным положением вещей становится невозможной! Из чего мы заключаем, что образ просто-напросто не имеет больше *смысла*, что может обоснованно показаться изрядным преувеличением.

Такого рода затруднение вызывает в памяти старую философскую проблему имен, которые ничего не обозначают. Говоря «*Пенелопа была верна Улиссу*», мы предполагаем, что два имени собственных, присутствующих в этом предложении, действительно обозначают два предмета, иначе они не были бы именами. Имя является таковым только тогда, когда оно что-то обозначает: однако эта избитая истина подчас влечет за собой значительные трудности, поскольку имена в вышеприведенном предложении по сути ничего не обозначают. Тем не менее смысл предложения нам понятен, более того — мы готовы признать его истинным. Некоторые светлые умы¹ предлагали в этом случае согласиться с тем, что имена *Пенелопа* и *Улисс* обозначают

¹ Например, философ Алексиус фон Мейнонг (1853–1920).

не то, что существует в реальности, но «нереальные» предметы загадочного характера.

В этом отношении Витгенштейн разделял точку зрения Рассела, согласно которой *Пенелопа* на самом деле является не именем, но скрытым описанием наподобие: *та, которая отвергала ухаживания поклонников*. В этом случае нам следует проанализировать мнимое имя собственное и затем устранить его, чтобы предложение приобрело следующий вид: *существует единственный предмет, который отвергал ухаживания поклонников и был верен Улиссу*. Если выяснится, что в действительности нет ни одного предмета, подходящего под это описание, или, наоборот, что их несколько, предложение просто будет ложным, но не лишенным смысла. Посему нет никакой необходимости признавать, что *Пенелопа* обозначает нечто призрачное.

Из этого вытекает следующее: то, что обозначается как *Пенелопа*, должно *поддаваться описанию*. Последнее возможно лишь в отношении *сложного* предмета, поскольку в описании задействуются несколько элементов, из которых предположительно состоит описываемый предмет. Нечто совершенно простое нельзя описать — можно лишь *обозначить*. Возьмем, к примеру, точку в пространстве. Располагая системой координат, мы можем обозначить точку, указав три ее координаты, но не можем описать ее, поскольку она представляет собой простей-

ший предмет (зато возможно установить, какие отношения существуют между ней и другими точками).

Очевидно, в случае с автомобилем мы имеем дело с комплексом, который, стало быть, можно описать как состоящий из таких-то и таких-то более простых элементов. Игрушечные машинки из парижского судебного процесса, как ни странно, в действительности являются скрытыми описаниями в том смысле, что они заменяют лишь реальный автомобиль в целом, оставляя неопределенными множество элементов, составляющих автомобили. По этой причине игрушечные машинки являются не более чем частичными заменителями реальных автомобилей. Если мы желаем иметь совершенно ясное представление о том, что собой представляют эти машинки, нам нужно *проанализировать простые* элементы, или предметы, комплекса, коим является реальный автомобиль, и создать его образ, в котором каждый простой предмет будет иметь свой эквивалент. В идеале машинки должны быть сочетаниями простых элементов, в которых каждый из элементов заменял бы простой предмет, входящий в состав реального автомобиля. Сочетание соответствующих простых элементов может не существовать в реальности, но для того, чтобы в этом убедиться, то есть сравнить идеальную машинку с реальностью, сами простые элементы *должны* существовать в обяза-

тельном порядке. Этот важный пункт требует уточнения.

Предположим, мы не уверены в реальном существовании того, что заменено простым элементом образа — назовем его ε . В этом случае мы сможем сравнить полностью проанализированную машинку с реальностью лишь *после* того, как убедимся в том, что то, что заменено ε , и вправду существует. Значит, мы должны быть в состоянии сравнить ε с реальностью; но для этого необходимо *заранее* знать, что нам следует искать. Это, в свою очередь, возможно лишь при условии, что ε является отображением, образом элемента; однако, как видим, чтобы стать отображением, ε должен иметь четкую структуру и состоять из заменителей предметов: ε не так-то прост!

Отсюда вытекает следующее замечание: можно поставить вопрос о существовании лишь в отношении того, что изображает образ, с тем, чтобы сравнение с реальностью было возможным, но не в отношении того, что заменено простым элементом образа. И наоборот, если мы имеем дело с изображением чего-либо, то речь идет только о комплексе и его существование можно ставить под сомнение.

А теперь предположим, что простых предметов, которые должны быть заменены простыми элементами образа, не существует. Так что конечные элементы в полностью проанализирован-

ном образе не являются простыми; будучи комплексами, они отображают предметы, которые могут не существовать. Мы сможем понять образ — то есть узнать, что имеет место в действительности, если образ «истинен», лишь при условии, что мы заранее ответим положительно на вопрос о существовании предметов, которые должны быть заменены конечными, но при этом сложными элементами образа. Предположим, эти сложные конечные элементы не состоят из простых конечных элементов, тогда в их отношении возникает тот же вопрос. В результате мы окажемся втянуты в бесконечную регрессию, вследствие чего никогда не узнаем, изображает ли исходный образ возможное положение вещей, иначе говоря, имеет ли он *смысл*. В конечном счете это приведет к перманентному отсутствию уверенности в том, что образ факта — это действительно образ, что само по себе абсурдно.

Из всего вышесказанного можно вывести следующее крайне важное заключение: если мы признаем, что факт может пониматься как образ положения вещей (имеющий смысл), то мы *должны* признать, что существуют конечные, неразложимые логическим анализом *простые предметы*, существование которых не может ставиться под сомнение и которые должны напрямую обозначаться также простыми заменителями.

Тогда мы приходим к мысли, что изобразительность как образа факта, так и парижского

судебного процесса, основывается *в конечном счете* на возможности осуществления их законченного анализа, который выявил бы простые конечные элементы, обозначающие непосредственно простые конечные предметы, составляющие факт. Полученный в результате анализа образ представляет собой определенное сочетание простых элементов, которые заменяют существующие простые предметы, причем это сочетание может быть как существующим, так и несуществующим. Назовем такого рода образ *элементарным*. Элементарный образ можно *непосредственно* сравнить с реальностью, а его «истинность» или «ложность» зависят *лишь* от существования или несуществования простого положения вещей, которое он отображает, и совершенно не зависит от существования или несуществования другого положения вещей, отображенного другим элементарным образом. Иначе говоря, «истинность» или «ложность» элементарного образа не зависят от «истинности» или «ложности» другого элементарного образа.

Вспомнив вывод, к которому мы пришли ранее (см. с. 121), можно добавить, что простой предмет имеет форму, которая есть его возможность вхождения в некоторые положения вещей, но не во все. Любопытно, что простые предметы являются одновременно формой и содержанием; они, по словам Витгенштейна, являются неизме-

няемой сущностью нашего мира (а также, позволим себе добавить, всех тех миров, которые мы можем вообразить).

Теперь можно перейти к рассмотрению последнего уровня, выявленного нами в образе. Мы сделаем это применительно к элементарным образам — единственным «подлинным» образам. Итак, речь идет об уровне формы, которая является общей для образа и изображаемого им положения вещей, а также, как видим, представляет собой возможность структуры, то есть особого сочетания (простых) предметов и (простых) элементов, заменяющих их в образе. Исходя из вышеизложенного касательно простых предметов, становится ясно, что структура образа является как бы имплицитным дополнением формы предметов. Как указывалось ранее, одни и те же предметы могут сочетаться по-разному (в зависимости от их формы). Простые элементы, заменяющие предметы, тоже могут сочетаться по-разному в образе. Предметы и соответствующие им простые имена определяют совокупность положений вещей, каждое из которых имеет свою структуру. Общим для этих структур является то, что они представляют собой возможные структуры, в которых могут сочетаться предметы / простые имена. Скажем так: у этих структур имеется определенная общая *форма*, которая

есть не что иное, как тот факт, что речь идет о возможных структурах, в которых могут сочетаться данные предметы / имена. Мы можем сравнивать образ с реальностью именно в силу того, что и структура изображенного положения вещей, и структура реально существующего положения вещей являются возможными структурами для простых предметов. Другими словами, одна и та же *форма* делает возможными эти две структуры; именно это делает возможным сравнение и позволяет образу изображать положение вещей. Рискнем предложить следующее сравнение.

Предположим, что мы имеем дело с цветной картинкой, на которой изображена некая сценка с персонажами. Вырежем из картинки все предметы, присутствующие на ней; теперь мы можем расположить их по нашему усмотрению на плоской поверхности (не накладывая их друг на друга, так как опыт, согласно нашей задумке, проводится в двухмерном пространстве) и получить столько новых картинок, сколько пожелаем. При этом одни и те же предметы каждый раз будут входить в новые сочетания, новые структуры. Однако, хоть мы и вольны создать множество различных картинок, мы не можем сделать так, чтобы один и тот же персонаж находился одновременно справа и слева от другого или чтобы один и тот же персонаж находился одновременно в двух местах. Такого рода невозможность

обусловлена тем, что в целом все эти картинки являются «пространственными». Именно эти ограничения, довлеющие и над сценами из реальной жизни, делают возможным сравнение картинки с реальностью.

Пространство из вышеприведенного примера является общей формой образа и отображаемого им факта, даже если данный факт отличается от того, который отображен в образе. Скажем так, чтобы быть *способным* отображать какой-либо факт, образ должен по меньшей мере иметь общую с ним «образную» форму, или «форму отображения», как ее называет Витгенштейн.

Из всего это вытекает нечто примечательное, а именно — образ не может отображать свою форму отображения, которая, как отмечалось выше, есть то общее, что образ должен иметь с реальностью, чтобы быть в состоянии ее отобразить. Пространственный образ *показывает*, что он пространственный, но не может отобразить само пространство, поскольку, будучи пространственным образом, он уже предполагает наличие пространства. Иначе говоря, *то, что позволяет образу отображать факт, не может быть отображено в образе.*

Итак, между формой отображения и формой предметов существует тесная связь: возможность для предмета иметь ту или иную форму, иначе говоря, входить в то или иное положение вещей также не может быть отображена. Она может

лишь показать себя в образе. Смысл последних замечаний станет понятнее, если мы применим к предложению все эти длинные рассуждения о том, что позволяет факту быть образом.

Но перед этим кратко перечислим основные пункты всего вышеизложенного.

Мир

Мир состоит из *фактов*. Факт — это существующее положение вещей. Мир мог бы отличаться от того, каким он сейчас является, если бы могли существовать другие положения вещей. (Простые) положения вещей взаимно независимы, то есть существование или несуществование одного положения вещей не зависит от существования или несуществования другого положения вещей. Положения вещей состоят из *простых предметов*, имеющих форму и содержание; определенное сочетание простых предметов образует положение вещей. Следовательно, положение вещей имеет *структуру*. Одни и те же простые предметы могут сочетаться по-разному, образуя положения вещей с разными структурами. Форма предметов определяет тип структур, в которых они могут фигурировать, то есть *форму* соответствующих положений вещей. Таким образом, положение вещей имеет одну из структур, которые сделала возможными его форма.

Образы фактов

Мы можем создавать образы фактов. Сам образ есть факт. В полностью проанализированном образе простые элементы, соответствующие простым предметам, сочетаются определенным образом. Образ отображает особое сочетание предметов, заменяемых простыми элементами, то есть образ отображает положение вещей. В силу того, что образ отображает положение вещей, его можно сравнить с реальностью. Образ показывает, как сочетаются простые объекты, если он «истинен»; образ отображает возможное положение вещей независимо от того, существует оно или нет.

Образ можно сравнить с реальностью, с одной стороны, потому что простые элементы, его составляющие, заменяют простые предметы, в существовании которых нельзя усомниться, а с другой — потому что его структура может быть структурой существующего положения вещей, состоящего из тех же простых предметов. Для того чтобы сравнение стало возможным, факт, с которым сравнивают образ, должен иметь ту же структуру, что и образ, другими словами, факт и образ должны иметь общую *форму*. Форма делает возможными различные структуры. Существование простых предметов, которые можно напрямую показать, и общность формы образа и факта составляют два условия, при которых сравнение образа с реальностью ста-

новится возможным. Образ «говорит», что отображаемое им положение вещей (его «смысл») существует в мире; в противном случае образ является ложным. Истинность или ложность образа зависят только от существования или несуществования изображаемого им положения вещей и не зависят от истинности или ложности другого образа.

Образ не может отображать форму, которая является общей для него и того, что он отображает, — он может *лишь* показать ее.

Предложение есть логический образ

Теперь вернемся к вопросу о предложении.

Перед этим необходимо сделать некоторое обобщение. Пространственный образ отображает пространственное положение вещей, цветовой образ — цветное и т. д., но при соответствующих условиях пространственный образ может отображать также временное положение вещей или, например, цветное положение вещей может отображать музыкальное. Для этого необходимо, чтобы у образа и положения вещей имелось нечто общее, выходящее за пределы пространственной, цветовой и прочих форм. Это нечто общее есть не что иное, как *логическая форма*, которая является формой реальности. Всякий образ вне зависимости от его собствен-

ной формы по крайней мере должен иметь общую с реальностью логическую форму. Поэтому всякий образ является одновременно *логическим образом*.

Простое предложение представляет собой простой логический образ реальности.

Остается переформулировать применительно к предложению (как будет видно из нижеследующего — простому) то, что мы уже установили в отношении образа в целом. Предложение — это факт, в котором элементы, (простые) имена, расположены определенным образом. Каждому имени соответствует «объект», являющийся составной частью положения вещей. То, что имена расположены именно так, показывает, как соответствующие именам объекты расположены в положении вещей, это составляет *смысл* предложения. То есть предложение показывает свой смысл. Смысл предложения можно понять до возникновения вопросов о его истинности; наличие смысла у предложения не зависит от того, как в действительности обстоит дело. Конфигурация имен в предложении, его структура, соответствует или не соответствует конфигурации объектов в реально существующем положении вещей; в первом случае предложение является истинным, во втором — ложным. Истинность или ложность элементарного предложения зависит только от существования или несуществования положения вещей, которое оно отображает, а не

от истинности или ложности другого элементарного предложения. Элементарные предложения являются взаимно *независимыми*.

Наконец, форма, являющаяся общей для положения вещей и предложения, — это логическая форма, то есть форма реальности.

Имена не обладают смыслом, они заменяют объекты. С формой объектов связан тот факт, что имена, заменяющие их, могут фигурировать в тех или иных предложениях, но не во всех. Предложения только тогда обретают смысл, когда «логически выражены», то есть отражают возможное положение вещей, которое либо существует в действительности, либо нет, третье исключено.

Эту же мысль можно выразить несколько иначе: предложение показывает, как обстоит дело, если оно истинно, то есть оно показывает свои *условия истинности*. Из этого следует, что условия истинности предложения составляют его смысл. И наоборот, предложение, не имеющее условий истинности, не имеет и смысла; по сути это и не предложение вовсе. Это то, что принято называть условно-истинностной теорией значения: понимать предложение значит иметь понятие о том, как обстоит дело, если оно является истинным.

Предложение *говорит* то, что оно показывает, то есть положение вещей, которое оно отображает, является существующим (в противном слу-

чае предложение ложно). Предложение не может сказать, что оно имеет смысл, то есть общую с реальностью форму, и что простые имена, которые составляют его, заменяют простые объекты, имеющие определенную форму. Оно может только *показать* это; отсюда — известное суждение: «то, что *может* быть показано, *не может* быть сказано»¹. Из этого вытекает, что говорить о логической форме предложения невозможно.

Все вышеизложенное может показаться чересчур фигуральным: утверждение, что образ в своем обычном значении обладает свойствами, на которых мы подробно останавливались, может встретить одобрение, в отличие от утверждения, что предложение — это образ, поскольку не слишком понятно, что общего у такого предложения, как «*Демосфен является таким же хорошим оратором, как Цицерон*» с образом! Однако именно на этом настаивает Витгенштейн. Допустим, мы выявили форму такого предложения, обозначив имена собственные *Демосфен* и *Цицерон* строчными буквами латинского алфавита, а отношение «*такой же хороший оратор, как*» прописной буквой R. Тогда данное предло-

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 4.1212. С. 92.

жение в качестве образа имеет логическую форму aRb . «Очевидно, что предложение формы « aRb » мы воспринимаем как образ. Здесь, очевидно, знак есть подобие обозначаемого»¹, — пишет Витгенштейн. Признание наличия подобного сходства между предложением и образом, распространение этого сходства на весь язык в целом все-таки предполагает необходимость внесения дополнительных положений, которые сделали бы его приемлемым.

Прежде всего, ясно, что образы положений вещей, которые мы создаем для себя, зачастую предполагают некоторые условия; это относится не только к образам-предложениям, но и к таким образам, как музыкальные партитуры и температурные кривые. Эти условия касаются того, что замещают «простые» знаки, а также, разумеется, того способа, которым структурированы образы: к примеру, в отношении температурной кривой мы признаем чтение слева направо, как соответствующее направлению движения из прошлого в будущее. Аналогичным образом высокие звуки обозначаются нотами, расположенными «высоко» на нотном стане, и т. д.

Однако следует различать два случая: при соблюдении этих условий любая температурная кривая, которую мы построим, будет отражать *возможное* положение вещей. Конечно, может

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 4.012. С. 74–76.

оказаться, что это положение вещей является *физиологически* невозможным, например, если кривая отразит резкие скачки температуры за очень короткие промежутки времени. Тем не менее она остается температурной кривой, отражающей положение вещей, которое, разумеется, не существует в нашем мире, но *может* существовать в другом мире. Мы скажем, что в этом случае нашему способу символического отображения колебаний температуры больного присуща *множественность*, что означает всего-навсего то, что символика, использованная для изображения колебаний температуры больного, совпадает по форме с физиологическими фактами, которые она позволяет отобразить.

Однако так происходит не всегда. Велика вероятность, что система знаков, символика, окажется такой, что будет возможно, соблюдая ее правила, построить образы, не способные отображать что бы то ни было, другими словами пустые образы. В таком случае подобная символика не обладает множественностью. Именно это является отличительной чертой естественных разговорных языков. Они подчиняются обычным правилам грамматики, которые мы осваиваем в начальной школе. Следуя этим грамматическим правилам, мы можем образовывать предложения, которые не способны отображать возможную ситуацию. Возьмем простейший пример. С грамматической точки

зрения мы вправе построить следующее предложение: «В 22 часа 30 минут у Жана была температура 37,5 и 39 градусов» (по образцу: «В 22 часа 30 минут у Жана был насморк и озноб»), и нам может показаться, что, несмотря на свою ложность, предложение все же не лишено смысла. На такого рода предложениях, которые позволяет нам строить грамматика, основываются многочисленные шутки вроде «Принеси мне нож без клинка и без рукояти!». Напротив, при соблюдении условий построения температурных кривых мы не сможем отобразить подобное «невозможное» положение вещей; ведь тогда у двух точек было бы одинаковое местоположение на оси абсцисс, а это запрещено нашими правилами. Сделав так, мы не построили бы «ложную» температурную кривую, мы построили бы *вместо* температурной кривой нечто совсем иное. Другими словами, нарушая правила построения температурной кривой, мы создаем нечто такое, смысл чего был утрачен (по сравнению с правильной температурной кривой).

Теперь в целом понятно, что можно формулировать предложения, которые *кажутся* осмысленными, но на самом деле таковыми не являются: будучи грамматически корректными, они в силу того, что обычному языку недостает множественности, не отражают *возможного* положения вещей и, следовательно, не могут быть со-

поставлены с реальностью, у них отсутствуют условия истинности. Короче говоря, они бессмысленны.

Пойдем дальше. Слегка поразмыслив над предложением «*В 22 часа 30 минут у Жана была температура 37,5 и 39 градусов*», мы придем к выводу, что оно абсурдно и что произносящий его человек либо не понимает, о чем говорит, либо шутит. Но так бывает не всегда, и это касается особенно важного, упомянутого выше положения, а именно того, что образ не может отображать форму, общую для него и реальности, которую он должен изображать. Однако естественный язык не только позволяет нам что-либо говорить об этих формах, но, по причине своей логической непрозрачности, прямо-таки вынуждает нас это делать. Вернемся к нашему примеру: взглядевшись в температурную кривую, мы незамедлительно «увидим» — хотя сама кривая нам об этом ничего не *говорит*, — что в отдельно взятый момент у больного может быть температура только одного определенного уровня (37,5° или 39°, но не оба значения). Температурная кривая *говорит*, что у Жана 37,5° (или 39°), и *показывает*, что не может быть одновременно два температурных значения. Показываемое ею подчиняется форме, которая является также формой отображаемого ею положения вещей.

Давайте теперь предположим, что человек, говорящий нам, что у Жана была температура

37,5 и 39 градусов, не шутит. Как указать ему на то, что его слова в действительности бессмысленны? Вероятно, придется объяснить ему, что температура тела не может одновременно иметь два значения или что человеку *невозможно* в одно и то же время иметь разные температурные показатели и т. п. Посредством данного объяснения выявилось свойство, которое является *необходимым* для факта наличия любой температуры: в каждый временной период температура имеет свое строго определенное значение. Кажется, мы ведем речь о возможном и даже реальном положении вещей. Однако это положение вещей выглядит достаточно странным. Предложение «*в каждый временной период температура человеческого тела имеет свое строго определенное значение*» выражает нечто, представляющееся настолько истинным, что мы не в силах даже и помыслить о его потенциальной ложности... Разве не имеем мы в данном случае дело с так называемым *необходимым* утверждением, которое выражает сущность вещей, саму их природу и т. п.?

Однако это не более чем иллюзия. Мы лишь сделали попытку сказать нечто о *форме* положений вещей, касающихся температуры человека в определенный момент времени, — о том, что температурная кривая показала бы без каких-либо слов, которые вдобавок были бы просто невозможны. Рассуждение о форме представля-

ется рассуждением о реальности — такой, какой она является в настоящий момент, — и мы склонны верить, что в этом рассуждении были обозначены основные ее свойства.

Здесь-то и возникает путаница. Именно такого рода путаницей наполнены труды по «философии». Разумеется, в них не ведется речь о температурных показателях и прочих столь же обыденных вещах, но это не меняет дела: интересуясь тем, является ли то или это «свойством» или «отношением», существуют ли «объекты» или, в терминах старой метафизики, являются ли «роды» и «виды» «субстанциями» и т. п., мы лишь задаем вопросы относительно *форм*, считая, что они касаются реальности и даже того, что составляет саму ее сущность. Однако о формах рассуждать невозможно, поскольку предложения, с помощью которых мы пытаемся это делать, вопреки видимости лишены смысла.

Если бы наши языки обладали логическим совершенством и множественностью, нам не только не пришлось бы задаваться подобными вопросами и искать на них ответы, но мы бы даже не смогли их сформулировать. Вернее, мы не смогли бы построить грамматически правильные, но при этом бессмысленные предложения. Поэтому необходимо располагать корректной символикой, в которой показывает себя логическая форма реальности. Для того чтобы логический образ был логически совершенным, нужно,

чтобы он показывал, при каких условиях он является истинным. Одна из задач «Трактата» состоит в том, чтобы показать, как должна выглядеть подобная символика. Как этого достичь?

Логически совершенная символика

Не стоит забывать, что понятие таблиц истинности вписывается в теорию логического анализа, предложенную Фреге и Расселом, и концепцию языка, которая из нее вытекает. Как известно, отправной точкой для искусственных языков, которые разработали отцы-основатели логики, задумав их как логически «совершенные», стали элементарные предложения. С точки зрения грамматики («синтаксиса») искусственного языка элементарные предложения являются наиболее короткими последовательностями грамматически приемлемых символов вроде *идет дождь* или *Жан болен*, которые являются наименьшими последовательностями «слов», образующих «фразу», согласно грамматике естественного языка. Элементарные предложения соединяются в сложные «предложения» либо союзной связью, либо бессоюзной, либо несколькими видами связи одновременно. *Только* с помощью первых двух видов связи можно создать предложения, которые будут считаться грамматически правильными. Итак, про-

стота такого языка позволяет выработать определение — именуемое рекурсивным — для совокупности грамматически правильных предложений.

Данное определение обычно принимает следующий вид¹. Прежде всего уточняется, что подразумевается под элементарными предложениями, исходя исключительно из их форм: например, можно сказать, что если P является двухместным предикатом типа «больше, чем», x и y — индивидуальными переменными, a и b — индивидуальными постоянными (то есть именами собственными), то $P(x, y)$ и $P(a, b)$ являются грамматически правильными элементарными предложениями.

Затем поясняется, как образуются новые предложения из уже полученных, не обязательно элементарных, но признанных грамматически правильными предложений:

— если φ и ψ являются грамматически правильными предложениями, то «не φ », « φ и ψ », « φ или ψ », «если φ , то ψ » и т. д. являются грамматически правильными предложениями.

— если φ является грамматически правильным предложением, то «для всех x , φ » и «существует по крайней мере один x , такой, что φ » яв-

¹ Излагаемое нами содержится, с небольшими вариациями, в любом *современном* учебнике по логике. В ту пору, когда Витгенштейн писал «Трактат», ясность в этом вопросе еще не была достигнута, но предпосылки к тому уже имелись!

ляются грамматически правильными предложениями.

Под такого рода рекурсивное определение *заранее*, на основании *лишь* их (грамматической) формы, подпадают *все* приемлемые предложения нашего языка.

Тогда можно объяснить главное предположение Витгенштейна, изложенное в «Трактате», следующим образом. Таблицы истинности позволяют понять, что значит для элементарного предложения иметь смысл и быть истинным или ложным: элементарное предложение имеет смысл, если оно обладает условиями истинности (если оно показывает возможное положение вещей), и является истинным, если эти условия выполнены (если это положение вещей существует в действительности). Так что элементарное предложение, записанное с помощью правильных символов, незамедлительно показывает свои условия истинности. Необходимо располагать такой символикой, которая бы позволяла совмещать грамматические правила построения предложений с выявлением условий истинности предложений, созданных на их основе.

Но прежде всего зададимся вопросом: как обстоит дело с элементарными предложениями? Можем ли мы привести хотя бы один пример элементарного предложения? И в более общем плане: можем ли мы выявить *формы* этих элементарных предложений, что позволило бы создать

символику, посредством которой мы бы «читали» эти формы? На каждый из этих вопросов автор «Трактата» дает отрицательный ответ.

Наша неспособность привести по крайней мере один пример элементарного предложения связана главным образом с невозможностью точно определить, что мы должны признать простым объектом. Вероятно, нам на ум придет точка в геометрическом или визуальном пространстве или «элементарная» частица, «именами» которых будут значения их координат, но Витгенштейн отказывается высказываться по этому поводу. Мы *должны* признать существование простых объектов, которые именуются, по вышеупомянутым причинам: в общем и целом, существование этих объектов должно быть признано в качестве условия возможности того, что предложение (не-элементарное) будет иметь определенный смысл, *даже если* мы не сможем выявить ни одного простого объекта. Сразу же оговоримся: в этом состоит основной недостаток «Трактата» — один из тех, которые впоследствии заставили Витгенштейна в корне пересмотреть данную работу.

Мы встречаем похожее затруднение, когда желаем выявить специфические логические формы элементарных предложений. Вначале уточним значение выражения «выявить логические формы». Логическая форма предложения, которая является условием его осмысленности и позволяет сравнивать его с реальностью, дол-

жна быть присуща ему изначально и прогнозируема; ее, разумеется, нельзя обнаружить в существующем мире. Эта прогнозируемость логических форм позволяет выявить способы построения одной формы из другой, иными словами способы порождения одними формами других. В случае с элементарными предложениями, которые представляют собой лишь сочетания простых имен, заменяющих простые объекты, и формы которых определяются формами объектов, подобное выявление невозможно, поскольку мы ничего не знаем об этих простых объектах (за исключением того, что вынужденно признаем их существование). Однако наравне с существованием простых объектов мы *должны* признать существование элементарных предложений в качестве условия определения смысла неанализированных предложений. И здесь автор «Трактата» испытывает еще одно значительное затруднение. Тем не менее, хотя мы не можем выделить логические формы, свойственные элементарным предложениям, таблицы истинности позволяют нам составить о них общее представление: любое элементарное предложение имеет форму «дело обстоит так-то и так-то»¹; это означает только одно — любое элементарное предложение является либо истинным, либо ложным.

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 4.5. С. 118.

Первый вывод несколько разочаровывает, но вместе с тем обнадеживает: в силу того, что истинность или ложность элементарного предложения не зависит от истинности или ложности другого элементарного предложения, элементарное предложение войдет в состав сложного предложения лишь как истинное или ложное, без учета его особой формы. Иначе говоря, отсутствие решения данной проблемы в «Трактате» не запрещает задаваться вопросом о том, возможно ли создать символику, которая позволила бы выявлять условия истинности молекулярных (сложных) предложений.

Как указывалось выше, последние грамматически строятся из элементарных предложений. Не можем ли мы признать и показать, что правила грамматики при их правильном употреблении не только позволяют образовывать предложения, но и определяют условия их истинности? Да, если признаем еще один основополагающий тезис, согласно которому *истинность или ложность молекулярных (сложных) предложений зависит только от истинности или ложности элементарных предложений, входящих в их состав* (принцип истинностной функциональности). Грамматические правила станут логически совершенными тогда, когда позволят строить лишь «пропозициональные знаки», показывающие, какие из элементарных предложений, входящих в их состав, должны быть истинными, а какие —

ложными, чтобы они были истинными. В итоге все предложения оказываются построены таким образом, что они показывают свои условия истинности, а значит, имеют с реальностью общую логическую форму.

Все это проще, чем кажется. Вернемся ненадолго к исследованиям Фреге и Рассела и спокойно зададимся вопросом: каков статус пропозициональных связок и кванторов — логических частиц, позволяющих строить молекулярные (сложные) предложения. Великие предшественники Витгенштейна в целом придерживались того мнения, что пропозициональные связки, и особенно кванторы («для всех x », «существует по крайней мере один x , такой, что»), являются примитивными логическими терминами, обладающими определенным значением, у которых мы можем в лучшем случае определить «логическую» функцию. Вот, к примеру, что утверждал Рассел в работе, которую он написал в 1913 году, но так и не смог опубликовать по причине жесткой критики со стороны Витгенштейна:

«Такие слова, как „или“, „не“, „все“, „некоторые“, явно затрагивают логические понятия; и поскольку мы можем осмысленно использовать эти слова, мы должны быть непосредственно знакомы с соответствующими логическими объектами».

Отсюда можно сделать вывод, что значение молекулярных (сложных) предложений частично зависит от значения логических частиц, при помощи которых они были образованы. Это легче всего понять на примере предложений, начинающихся с «для всех x », которые во французском языке, как правило, начинаются со слова «все». Таково предложение «*все люди смертны*». На первый взгляд может показаться, что в этом предложении говорится о том же, о чем и в следующем: «*Пиночет смертен, и Ельцин смертен, и Дрюон смертен и т. д.*». Предположим, что мы составили список такого рода элементарных предложений. Говорится ли в этой совокупности нескольких миллиардов элементарных (!) предложений о том же самом, о чем говорится в предложении «*все люди смертны*»? Нет, поскольку *еще* в этом предложении говорится о том, что, помимо перечисленных в списке людей, существуют другие; иначе говоря, слово «все» как раз придает списку, представляющему собой совокупность элементарных предложений, значение завершенности! Таким образом, «все» является логической постоянной, без постижения «значения» которой нельзя понять предложение типа «*все люди смертны*». Из этого Рассел заключает, что наряду с существованием атомарных фактов нужно признать и существование общих фактов.

Витгенштейн отвергает подобную позицию в отношении кванторов. Метод логического ана-

лиза Рассела является неприемлемым, поскольку вынуждает принять, так сказать, «божественную» точку зрения *на* мир в целом. В свете «Трактата» это было бы равносильно попытке *сказать* то, что может лишь *показать себя*: я не могу сказать, что то или это является «объектом», это может лишь показать себя в том факте, что я использую имя собственное; аналогичным образом я не могу сказать, что не существует других людей, помимо перечисленных мною в вышеупомянутом списке, это может лишь показать себя в том факте, что в моем языке не находится других имен людей.

Итак, последние замечания приводят Витгенштейна к признанию следующего: сложное предложение, независимо от того, имеется ли в нем квантор всеобщности («для всех x ») или квантор существования («существует по крайней мере один x , такой, что»), является не более чем составным высказыванием для выражения конъюнкции или дизъюнкции предложений, полученных посредством замены квантифицированной переменной именами собственными. Дополнительное условие — «не существует других людей, помимо», — наличие которого Рассел считал необходимым, попросту исчезло.

Таким образом, данное положение позволяет свести сложные предложения к молекулярным, к конъюнкции или дизъюнкции элементарных предложений. Другими словами, появилась воз-

возможность *устранить* то, что казалось как Фреге, так и Расселу логическими постоянными, а именно: «для всех x » и «существует по крайней мере один x , такой, что».

Что же тогда можно сказать в отношении молекулярных предложений или, если угодно, других логических постоянных, которыми являются пропозициональные связки? Можно ли их тоже устранить, или мы должны признать, что они добавляют что-то к значению предложений, в которых содержатся?

Для ответа на этот вопрос нам потребуется вспомнить, каким образом Фреге и Рассел использовали логические связки, о чем уже вкратце упоминалось. Рассмотрим, к примеру, следующее молекулярное предложение: «*Ширак болен, и телевизор выключен*». Что может означать «и»? Самый простой ответ: «и» указывает на то, что предложение является истинным, если хотя бы одно из элементарных предложений, входящих в его состав (или оба), является истинным. Мы можем подобным образом подойти к другим логическим связкам вроде «или», «если... то» и т. д. Впрочем, в этом нет ничего нового: схожее определение связок, как отмечалось выше, мы обнаруживаем не только у Фреге с Расселом, но и у стоиков в Античности.

Приняв вышесказанное за основу, Витгенштейн переходит к общим выводам. В молекулярном предложении определенным образом сочетаются элементарные предложения, которые входят в эти сочетания как обладающие общей формой, то есть *как способные быть истинными или ложными* (как говорящие, что дело обстоит так-то и так-то).

В целях упрощения рассмотрим только два возможных положения вещей, α и β , отображенные соответственно двумя элементарными предложениями — p и q . Напомним, что простые положения вещей являются взаимно независимыми, то есть существование или несуществование одного простого положения вещей совершенно не зависит от существования или несуществования другого простого положения вещей. Поэтому α и β могут сочетаться ни много ни мало четырьмя разными способами. Если мы условимся обозначать α тот факт, что α не существует, у нас получится четыре возможных сочетания: $\{\langle \alpha, \beta \rangle, \langle \alpha, \bar{\beta} \rangle, \langle \bar{\alpha}, \beta \rangle, \langle \bar{\alpha}, \bar{\beta} \rangle\}$ (при наличии 3 положений вещей получилось бы соответственно 8 возможных сочетаний, и т. д.).

Итак, можно сказать, что форма возможной сложной ситуации, состоящая из двух положений вещей α и β , является совокупностью четырех возможных сочетаний, так же как и форма возможного положения вещей является совокупностью способов, которыми сочетаются простые

объекты, составляющие его. Легко установить, что оба элементарных предложения p и q , если принимать во внимание исключительно их истинность или ложность, также могут сочетаться лишь четырьмя разными способами; если мы условимся обозначать p_v тот факт, что p является истинным, а p_f — тот факт, что p является ложным, у нас получится: $\{ \langle p_v, q_v \rangle, \langle p_v, q_f \rangle, \langle p_f, q_v \rangle, \langle p_f, q_f \rangle \}$; таким образом эти четыре возможности элементарных предложений быть истинными или ложными соответствуют четырем возможностям положений вещей α и β быть существующими или несуществующими.

О чем *говорит* элементарное предложение? О том, что положение вещей, которое оно отображает, является существующим. О чем *говорит* молекулярное предложение, состоящее из p и q ? О том, что некоторые, все или ни одно из четырех сочетаний $\{ \langle \alpha, \beta \rangle, \langle \alpha, \beta \rangle, \langle \alpha, \beta \rangle, \langle \alpha, \beta \rangle \}$ не являются существующими. Например, p или q говорит, что α и β являются существующими, или что α является существующим, или что β является существующим, и исключает то, что ни α , ни β не являются существующими. Другими словами, с одной стороны, это предложение выражает согласие с тремя первыми возможностями $\langle \alpha, \beta \rangle, \langle \alpha, \beta \rangle, \langle \alpha, \beta \rangle$, с другой — несогласие с возможностью $\langle \alpha, \beta \rangle$. Следовательно, в отличие от элементарного предложения, которое является истинным только при условии, что ото-

бражаемое им положение вещей является существующим, молекулярное предложение типа p или q является истинным только при условии, что одно из трех возможных сочетаний $\langle \alpha, \beta \rangle$, $\langle \alpha, \beta \rangle$ или $\langle \alpha, \beta \rangle$ является существующим. Таким образом, «условия истинности» p или q состоят в том, что p и q являются одновременно истинными, или в том, что p является истинным, или, наконец, что q является истинным.

До этого мы признавали, что знаем значение связки «и», для понимания которого одной записи p или q недостаточно. Тем не менее легко определить это значение с помощью следующей символики:

p	q	
и	и	и
и	л	и
л	и	и
л	л	л

Буква «и» означает «истинное», буква «л» — «ложное», а правый столбец указывает, с какими «истинностными возможностями» p и q согласуется молекулярное предложение. Истинностные возможности, с которыми предложение согласуется, Витгенштейн называет *основаниями истинности* этого предложения. Таким образом, в правом столбце указано, каковы основа-

ния истинности молекулярного предложения. Здесь мы имеем дело с пропозициональным знаком, в котором слово «и» *больше не присутствует* и достоинством которого является то, что он *прямо* показывает, каковы условия истинности молекулярного предложения. Запомнив порядок расположения истинностных возможностей p и q , мы сможем записать это предложение еще более кратко, в доступном для понимания виде: $(v, v, v, f) (p, q)$.

Наличие «множественности» у данного пропозиционального знака зависит от того, насколько точно соответствуют истинностные возможности предложения возможностям существования или несуществования положений вещей, отображаемых элементарными предложениями. Следовательно, пропозициональный знак не может согласовываться с одной (или несколькими) истинностной возможностью элементарных предложений, которые не соответствовали бы возможности существования или несуществования положений вещей, отображенных элементарными предложениями. Напротив, мы видели, как предложение «*в 22 часа 30 минут у Жана была температура 37,5, и в 22 часа 30 минут у Жана была температура 39 градусов*» согласовывалось с *иллюзорной* возможностью существования положений вещей: соединению элементарных предложений не соответствует ни одна возможность существования положений

вещей, изображенных посредством этих двух элементарных предложений.

В более общем плане пропозициональный знак отражает, с каким подмножеством множества истинностных возможностей элементарных предложений он согласуется. Это замечание позволяет нам продвинуться дальше и выявить множество молекулярных предложений, состоящих из двух элементарных предложений, поскольку данное множество является лишь множеством подмножеств множества из четырех элементов $\{ \langle p_v, q_v \rangle, \langle p_v, q_f \rangle, \langle p_f, q_v \rangle, \langle p_f, q_f \rangle \}$, которое соответствует множеству $\{ \langle \alpha, \beta \rangle, \langle \alpha, \beta \rangle, \langle \alpha, \beta \rangle \}$. Так как множество из четырех элементов имеет шестнадцать (2^4) подмножеств, можно составить следующую таблицу:

p	q	t	\vee	\leftarrow		\rightarrow		\leftrightarrow	\wedge		∇	$\sim q$		$\sim p$		\downarrow	п
и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	л	л	л	л	л	л	л	л
и	л	и	и	и	и	л	л	л	л	и	и	и	и	л	л	л	л
л	и	и	и	л	л	и	и	л	л	и	и	л	л	и	и	л	л
л	л	и	л	и	л	и	л	и	л	и	л	и	л	и	л	и	л

Небольшие символы, написанные в верхней части некоторых столбцов, обозначают логические союзы:

— $p \vee q$ соответствует p или q (инклюзивная дизъюнкция: оба элементарных предложения могут быть истинными);

- $p \leftarrow q$ соответствует *р если q*;
- $p \rightarrow q$ соответствует *если р, то q* (импликация);
- $p \leftrightarrow q$ соответствует *если, и только если р, то q* (двойная импликация);
- $p \wedge q$ соответствует *р и q* (конъюнкция);
- $p \vee q$ соответствует *или р, или q* (эксклюзивная дизъюнкция: два элементарных предложения не могут быть одновременно истинными);
- $\sim q$ ($\sim p$) соответствует *не q* (*не p*);
- $p \downarrow q$ соответствует *ни р, ни q* (инверсия).

Буквы «т» и «п» в верхней части двух столбцов обозначают два особых случая, которые мы вскоре рассмотрим, а именно «тавтологию» и «противоречие».

Столбец под знаком « \vee » мы использовали в качестве исходной точки.

Из всего вышеизложенного можно сделать несколько выводов, которые приводит Витгенштейн.

- Не существует логической константы.

Прежде всего, представляется очевидным, что пропозициональные связки взаимовыразимы. Например, предложение *если р, то q* ($p \rightarrow q$) имеет ту же «истинностную функцию» p и q , что и предложение *не р или q* ($\sim p \vee q$), и *не (р и не q)*

$(\sim(p \wedge \sim q))$. Так что достаточно воспользоваться связками « \sim » и « \vee » или « \sim » и « \rightarrow », а то и вовсе одной связкой « \downarrow », чтобы записать какое угодно молекулярное предложение, состоящее из двух элементарных предложений. Из этого следует, что нет никаких оснований для того, чтобы присваивать этим связкам особое значение; единственное, что важно, — знать, какая «истинностная функция» элементарных предложений есть молекулярное предложение, что в случае с $p \rightarrow q$ становится очевидным посредством обозначения (и, л, и, и,) (p, q) , без каких-либо связок. Напротив, использование логических союзов может запросто навести на мысль, что они обладают особым значением, обозначая то, что Рассел называл «логическими данными».

Теперь мы лучше понимаем «основополагающую идею» Витгенштейна: не существует ни логического «объекта», ни логической константы, а логика как наука не должна заниматься изучением свойств этих так называемых объектов. По сути использование логических союзов создает иллюзию, что они сообщают нечто о *форме* (то есть условиях истинности) молекулярных предложений, которые образуются с их помощью, и это приводит к колоссальной путанице, в которую оказались втянуты Фреге с Расселом (и не только они!).

«Общая форма предложения»

Второй вывод, который можно сделать при изучении нашей таблицы, касается способа ее построения. Мы использовали несложный пример истинностных функций двух элементарных предложений. Однако мы можем проделать абсолютно то же самое с бесчисленным множеством элементарных предложений: имея n элементарных предложений, можно последовательно создать все истинностные функции этих n предложений. В отношении этих n элементарных предложений существуют 2^n возможности истинности, соответствующие тем же 2^n возможностям существования или несуществования положений вещей, отображаемых n элементарных предложений. Простой подсчет показывает, что имеется $2^{(2^n)}$ различных истинностных функций n элементарных предложений.

Однако пойдём дальше: как мы видели, можно выразить все истинностные функции при помощи истинностных функций лишь двух элементарных предложений. Между тем все истинностные функции двух элементарных предложений могут, в свою очередь, быть выражены посредством, например, одной функции — «инверсии» («ни... ни...», которую иногда называют штрихом Шеффера по имени ее «изобретателя»). Из этой возможности Витгенштейн выводит то, что составляет стержень «Трактата»: совокупность

молекулярных предложений можно определить как результат одной операции — инверсии — над элементарными предложениями.

Вместо этой чересчур простой операции попробуем пояснить мысль Витгенштейна посредством двух операций — отрицания и дизъюнкции. Для большей наглядности предположим, что существует только три элементарных предложения — p , q и r . Из этих трех предложений мы условимся образовывать новые предложения, либо ставя знак отрицания « \sim » перед одним предложением, либо вставляя знак дизъюнкции « \vee » между двумя предложениями. Итак, вот пример того, как можно строить более сложные предложения:

$\sim p$; $\sim p \vee q$; $\sim (\sim p \vee q)$; $r \vee \sim (\sim p \vee q)$; $\sim q$; $\sim q \vee [r \vee \sim (\sim p \vee q)]$ и т. д.

Таким образом возможно сконструировать *a priori* все истинностные функции одного, двух или трех элементарных предложений. Главное заключается в том, что способ, которым мы строили пропозициональные знаки, позволяет обнаружить на каждом этапе данного построения условия истинности нового предложения, поскольку каждое из двух обозначений операций одновременно является выражением определенной истинностной функции (см. таблицу, приведенную выше). В отношении выбранных нами примеров результат будет следующим: $\sim p$ явля-

ется истинным, если, и только если p является ложным; $\sim p \vee q$ является истинным, если, и только если $\sim p$ и q не являются одновременно ложными, иначе говоря, если p не является истинным, а q ложным; $\sim(\sim p \vee q)$ является истинным, если, и только если $\sim p \vee q$ является ложным, другими словами, если... и т. д.

Разумеется, мы ограничились тремя элементарными предложениями только из педагогических соображений, и этот способ может иметь широкое применение. Из всего вышеизложенного Витгенштейн вывел то, что он называет «общей формой предложения», которая представляет все пропозициональные (молекулярные) формы посредством логической символики: $[\bar{p}, \bar{\xi}, N(\bar{\xi})]$, в котором \bar{p} обозначает совокупность элементарных предложений, $\bar{\xi}$ — совокупность предложений (элементарных или полученных из элементарных посредством операции N), а $N(\bar{\xi})$ — результат выполнения операции инверсии по отношению к $\bar{\xi}$.

Таким образом, данная общая форма предложения, беря в расчет лишь форму предложений, предъясняет *in nucleo* все возможные пропозициональные формы; она является выражением правила знаков и в то же время показывает условия истинности каждого нового предложения. Другими словами, она позволяет *a priori* сконструировать форму из других форм с помощью

единственной операции инверсии. В этом смысле, ничего не *говоря* об этих формах, она ограничивается тем, что *показывает* их.

Именно большой успех «Трактата» придал смысл главной идее, к которой нас подвело рассмотрение понятия образа, а именно — к тому, что логическая форма является невыразимой и может лишь показывать себя в соответствующей символической форме. Отсюда возникает вопрос: если можно показать пропозициональный знак через него самого, каковы условия истинности предложения?

Что такое «логический закон»?

На этом не заканчиваются выводы, вынесенные Витгенштейном из своего тезиса, согласно которому не следует признавать какие-либо логические константы. Теперь пришел черед обратиться к двум столбцам таблицы истинности. Эти столбцы демонстрируют странность, которая заключается в согласовании, выраженном соответствующими предложениями со всеми истинными возможностями элементарных предложений (или ни с одной из них). Это означает, что данные предложения в действительности не имеют условий истинности, поскольку они либо всегда истинны (тавтология), либо всегда ложны (противоречие), независимо от того, что имеет место в действительности. Обычное предло-

жение, наоборот, является истинным лишь при определенных условиях, с которыми оно согласуется, или ложным, если одно из этих условий не было выполнено. Между тем мы многократно настаивали на том, что смыслом предложения являются его условия истинности. Из этого непосредственно вытекает, что предложение, не имеющее условий истинности, — бессмысленно. Может показаться, что составленная нами таблица так же позволяет строить предложения, лишенные смысла, как и естественный язык...

Однако это не так, поскольку тавтология (или противоречие) лишена смысла не по причине невозможности существования *видимо* изображенного положения вещей, но из-за самих свойств истинностных функций.

Рассмотрим предложение (в привычном обозначении « p или q »):

p	q	
и	и	и
и	л	и
л	и	и
л	л	л

Поставив p на место q , получим следующую небольшую таблицу:

p	p	
и	и	и
л	л	л

А теперь заменим одну из двух p на ее отрицание:

p	$\sim p$	
и	л	и
л	и	и

Расположенная выше таблица истинности показывает форму предложения типа «идет дождь, или не идет дождь», которое всегда истинно в силу свойства функции, называемой дизъюнкцией, которая показана во второй и третьей строках таблицы. Обычное предложение, когда оно истинно, информирует нас о том, что имеет место в действительности, то есть что одно из его оснований истинности имеет место. Здесь же ситуация иная, поскольку тавтология хоть и является (всегда) истинной, однако совершенно *ни о чем* нас не информирует. Зато она выявляет свойство дизъюнкции, которое одновременно является формальным свойством мира, а именно — возможное положение вещей существует или не существует. Итак, можно сказать, что тавтология (как и противоречие) выявляет, по выражению Витгенштейна, «каркас мира» или «логику мира».

Где можно найти тавтологию? В логике. Логические законы, представленные в системах Фреге и Рассела, являются не более чем тавтологиями — именно благодаря этому выводу Вит-

генштейн снискал почет среди логиков в 1920-е годы.

Для понимания вышеизложенного достаточно вернуться к способу утверждения логических законов, выбранному этими великими учеными. Напомним, что логический закон должен обосновывать умозаключение. Как было упомянуто ранее, умозаключение не может быть правильным при наличии истинных посылок и ложного заключения. А теперь обратим внимание на одну из шестнадцати функций нашей таблицы истинности, на импликацию (\rightarrow), которая обладает одним любопытным свойством: она ложна только тогда, когда ее антецедент истинен, а консеквент ложен. Предположим, что основания истинности (молекулярного) предложения, φ , являются одновременно основаниями истинности другого предложения, ϕ , или, другими словами, предположим, что ϕ согласуется со (по крайней мере) всеми возможностями истинности, с которыми согласуется φ . В этом случае импликация $\varphi \rightarrow \phi$ будет всегда истинной. Если же мы будем считать φ посылкой умозаключения, а ϕ — выводом того же умозаключения, то также сможем назвать данное умозаключение правильным, поскольку всякий раз, когда φ истинно, ϕ тоже является таковым. Иначе говоря, умозаключение является правильным тогда, и только тогда, когда импликация, антецедентом которой является конъюнкция посылок, а консеквен-

том — вывод умозаключения, всегда истинна. Приведем пример.

Положим, первой посылкой будет предложение «*если идет дождь, то Элен грустит*». Как отмечалось выше, это предложение является истинным в трех случаях: «если идет дождь и Элен грустит» или «если не идет дождь и Элен грустит», или, наконец, «если не идет дождь и Элен не грустит». Прибавим вторую посылку «*идет дождь*», которая истинна лишь тогда, когда идет дождь (!). Если предположить, что обе посылки истинны, то исключаются оба последних основания истинности первой посылки; остается лишь возможность того, что идет дождь и что Элен грустит. Следовательно, мы можем вывести из двух посылок «*если идет дождь, Элен грустит*» и «*идет дождь*» закономерное заключение — «*Элен грустит*».

Теперь обозначим «*идет дождь*» буквой p , а «*Элен грустит*» буквой q и образуем молекулярное предложение: $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$ (это предложение сложновыразимо на нашем обычном языке!). В силу условий истинности импликации, о которых упоминалось выше, это предложение ложно, только если $(p \rightarrow q) \wedge p$ истинно, а q ложно; однако в силу условий истинности конъюнкции $(p \rightarrow q) \wedge p$ истинно, только если $p \rightarrow q$ истинно и p истинно, и опять-таки в силу условий истинности импликации это возможно, только если q истинно; иначе $p \rightarrow q$ было бы ложно,

вопреки предположениям. Следовательно, невозможно, чтобы $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$ являлось ложным. Это закон логики.

Фреге с Расселом пришли к следующему решению: выбрать в качестве аксиом некоторые логические законы, вроде вышеизложенного, показать, что они не могут быть ложными на основании свойств пропозициональных связок (Фреге), или выдвинуть их как «очевидности» (Рассел), а затем вывести другие законы логики. Таким образом, логика как наука представляла собой аксиоматическую систему, похожую на ту, что некогда разработал Евклид для геометрии.

Витгенштейн считал такой подход в высшей степени неудовлетворительным, поскольку в результате создается впечатление, что законы, выведенные из первичных, взятых в качестве аксиом, законов, зависят от последних, а значит, что существует три логических закона, которые имеют более фундаментальный характер, чем остальные. В более общем плане аксиоматическое изложение законов приводит к тому, что истинность какого-либо логического закона должна быть установлена (посредством доказательства), то есть, по сути, что истинность логического закона представляется вытекающей из его доказательства; поэтому данные законы рассматриваются так, словно их истинность обусловлена.

Показав, что эти так называемые «логические законы» — всего лишь тавтологии, Витгенштейн

доказывает, что они не являются «истинными» в привычном смысле этого слова, как раз по той причине, что лишены условий истинности. Применительно к обычному предложению наличие условий истинности означает, что прежде, чем судить об его истинности или ложности, мы должны подождать, пока не узнаем, как обстоит дело в реальности. Напротив, тавтология «истинна» (позволим себе в данном случае выразиться не совсем надлежащим образом) при любом возможном положении вещей. Как уже отмечалось, это объясняется тем, что тавтология только показывает формальные свойства языка и мира прежде какого-либо контакта с миром. Впрочем, этим же характеризуется по существу правильное умозаключение: говоря о том, что умозаключение является правильным тогда, и только тогда, когда заключение не может быть ложным при истинных посылках, мы предполагаем, что, утверждая посылки, мы уже тем самым утверждаем заключение. Говоря языком Витгенштейна, это означает, что общие для посылок основания истинности одновременно являются основаниями истинности заключения. Для того чтобы это заметить, нет необходимости узнавать, истинны посылки и заключение или ложны. Достаточно знать, с какими истинными возможностями согласуются или не согласуются элементарные предложения, посылки и заключение. Фреге и Рассел считали необхо-

димым *доказать* логические законы именно по той причине, что полагали, что отношение между посылками и заключением зависит не от этих самых посылок и заключения, а от чего-то иного; однако все дело лишь в том, что предложения (типа $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$) в том виде, в каком они записаны, не показывают сразу свои условия истинности. Если, к примеру, мы вернемся к вышеприведенной таблице, слегка видоизменив ее, то уже непосредственно по ней сможем увидеть, что наше предложение является тавтологией:

1	2	3	4	5	6	7
$[(p$	\rightarrow	$q)$	\wedge	$p]$	\rightarrow	q
и	и	и	и	и	и	и
и	л	л	л	и	и	л
л	и	и	л	л	и	и
л	и	л	л	л	и	л

Подсчитываем (соотносясь с таблицей истинности, размещенной на странице 158) сначала $1 \rightarrow 3$, получаем столбец 2; затем $2 \wedge 5$, получаем столбец 4; и, наконец, $4 \rightarrow 7$, получаем в результате 6, где обнаруживаются только **И**.

Такого рода таблица позволяет наглядно увидеть следующее: тавтология показывает себя как тавтология и является таким образом, по выражению Витгенштейна, «своим собственным

доказательством», то есть она «показывает» то, что пытались «сказать» аксиоматические системы Фреге и Рассела. Связь между антецедентом и консеквентом в тавтологии (или, если угодно, связь между посылками и заключением в правильном умозаключении) является «внутренней» и «необходимой», обусловленной исключительно формой самих предложений. Поэтому ее можно выявить непосредственно на основании таблицы, не прибегая к иным доказательствам. Тем самым данный способ изображения сохраняет статус логической формы (языка и мира) и при этом не приводит нас к мысли о том, что логические законы имеют схожую природу с любым предложением, имеющим условия истинности.

Важность этого вывода обусловлена не столько табличным способом изображения, изобретателем которым Витгенштейн не является, сколько, если можно так выразиться, приведением логических законов в соответствие с их подлинным статусом, который делает весьма проблематичной их демонстрацию: как мы помним, эти законы, принимающие форму предложений, должны обосновывать правильные умозаключения. Однако для того, чтобы их доказать, нам необходимо воспользоваться теми самыми типами умозаключений, которые мы пытаемся обосновать... Получается замкнутый круг, о котором Фреге и Рассел, разумеется, знали, но не могли выйти из него по причине не вполне ясного осо-

знания того, что представляет собой логический закон.

В более общем плане сама необходимость установления логических законов ставит под вопрос витгенштейновскую концепцию языка и логической формы: в корректной записи, на самой ее поверхности, будут видны условия истинности предложений; но если это так, то будет сразу же видно, что такое-то заключение следует из таких-то посылок, поскольку достаточно будет констатировать исходя непосредственно из самих записей, что все общие для посылок основания истинности одновременно являются основаниями истинности заключения. Это хорошо видно на представленном выше примере: нам не составило труда установить, что единственное основание истинности, общее для двух посылок $p \rightarrow q$ и p (первая строка столбца 4), одновременно является одним из оснований истинности заключения q (первая и третья строки столбца 7). Вышесказанное можно представить также в следующем виде:

		1-я посылка	2-я посылка	Заключение
p	q	$p \rightarrow q$	p	q
и	и	и	и	и
и	л	л	и	л
л	и	и	л	и
л	л	и	л	л

Суть дела состоит в том, что заниматься логикой нас вынуждает то обстоятельство, что привычные нам знаковые системы (будь то естественный язык или даже полностью искусственный язык математики) маскируют логическую форму того, что мы говорим. Впрочем, Фреге тоже отмечал, что «если бы наш язык был логически более совершенен, нам бы, возможно, не требовалась логика, или же мы могли бы улавливать ее непосредственно из языка»¹. В некотором смысле «Трактат» можно рассматривать как воплощение этой идеи.

«Логико-философский трактат» в общих чертах

Пришло время немного вернуться назад и попробовать — на основании предшествующих строгих рассуждений (!) — сформулировать главные положения предложенной в «Трактате» концепции языка, мира и выразимого в языке.

Прибегнем к схематическому изображению. На самом нижнем уровне находятся элементарные предложения, истинность или ложность которых зависит только от фактически существующих в мире положений вещей, то есть фактов. Логике или философу нечего сказать по этому

¹ Frege G. *Écrits Posthumes*. P. 298.

поводу, в отличие от ученых, занимающихся исследованиями в области физики, химии и других естественных наук, — именно эти ученые должны определить, что в действительности существует, а значит, установить, какие из элементарных предложений истинны. Поэтому философия не имеет ничего общего с естественными науками; только ученые-естественники имеют право вести речь об «истинном» положении вещей.

Все остальные предложения, то есть молекулярные предложения, образованы из элементарных предложений как истинностные функции последних. Если известно, какие из элементарных предложений являются истинными, а какие — ложными, можно заранее определить посредством простых вычислений все истинные и все ложные молекулярные предложения. Только между молекулярными предложениями в обязательном порядке существуют отношения вывода или противоречия: тот факт, что из одного предложения следует другое или несколько других предложений или что одно предложение противоречит другому, зависит только от оснований истинности одних и других и не зависит от того, что имеет место в действительности. Иначе говоря, есть лишь одна необходимость — логическая. Логика как наука имеет право на существование лишь потому, что эти отношения не проявляются со всей ясностью в символике, которую мы используем обычно.

Начав с этих двух уровней, пойдём дальше.

Что касается элементарных предложений, рассмотрение условий, которым они должны удовлетворять, чтобы иметь смысл, позволило Витгенштейну *a priori* установить, что элементарные предложения не зависят друг от друга и, соответственно, что существование или несуществование одного положения вещей ни в коей мере не зависит от существования или несуществования другого положения вещей. Из этого следует, что между фактами (между существующими положениями вещей) отсутствуют обязательные, в частности причинные, отношения: «Суеверие есть вера в причинную связь», — пишет Витгенштейн¹. «Закон причинности» затрагивает не сами факты, а то, как мы их себе представляем; то есть он касается только того, каким образом мы строим наши научные теории, вернее, того, как мы представляем себе в простой и упорядоченной форме совокупность фактов. Закон причинности лишь расплывчато говорит о том, что существуют законы природы; но существование законов природы является не более чем особенностью — которая должна сама собой проявиться, — того, как мы представляем себе мир, а не свойством того, что представлено.

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 5.1361. С. 126.

В более общем смысле образная теория в ее применении к элементарным предложениям приводит к полному отделению истинности от существенности, а значит, истинности от ценности. Согласно традиционному подходу, существующему со времен Аристотеля и его логического анализа, чем глубже суждение проникает в *сущность* субъекта, определяемого предикатом, тем в большей степени оно истинно: возвращаясь к нашему примеру, суждение «*Буцефал является лошадью*» «более» истинно, чем суждение «*Буцефал является неукротимым*». Вообще говоря, из этого следует, что истинности отличаются друг от друга по степени важности и *ценности*: выражая сущность вещей (а то и всего мира!), мы получаем доступ к тому, что действительно *имеет ценность*, тогда как оставаясь на уровне «случайных свойств», мы довольствуемся поверхностным и малозначимым. Как известно, именно философы путем отрешения от всего внешнего и отказа от собственных насущных потребностей и т. п. обретают необыкновенную способность постигать «*суть*» вещей, в отличие от простых смертных, которые из-за легкомыслия или лени обречены ограничиваться случайным. Поэтому поиск истины, понимаемый как поиск чего-то основополагающего — сути, зачастую ценен сам по себе, являясь самой благородной целью в жизни человека.

Как мы помним, одна из наиболее значимых характеристик «нового» логического анализа, разработанного Фреге, состояла именно в том, что возможность по-разному анализировать одно и то же предложение отменяет идею Аристотеля (и не только его одного), согласно которой любое предложение говорит что-то о чем-то. Образная теория позволила этой идее в полной мере обрести смысл: собственно, предложение ничего не говорит о «чем-то», что должно в конечном итоге относиться к субстанции, скрытую сущность которой необходимо раскрыть. Предложение представляет собой один из способов, посредством которого объекты сочетаются друг с другом. Если предложение истинно, значит, объекты сочетались именно таким образом, но лишь по чистой случайности; несомненно, предложение говорит, что «дело обстоит так», но вполне могло случиться и так, что дело обстояло бы ровно наоборот — по существу, это не имеет никакого значения. Если предложение истинно, оно может только показать, как устроен кусочек мира, который оно отображает, и больше ничего. В этом смысле все истинные предложения находятся на совершенно одинаковом уровне: ни одно из них не является более «истинным», чем остальные, ни одно не имеет бóльшую *ценность*, чем остальные. Отсюда Витгенштейн делает вывод:

«Все предложения равноценны»¹.

И прибавляет следующее замечание:

*«В мире все есть, как оно есть, и все происходит так, как происходит: **в нем нет никакой ценности**».*

Из этого основополагающего тезиса вытекает, что естественные науки, которые определяют, какие из предложений являются истинными, ничего не могут сообщить нам о том, что представляет ценность, а что — нет. Конечно, желая узнать о том, что является истинным, мы должны полагаться на эти науки, но это ни в коей мере не касается главного — того, что составляет, по выражению Витгенштейна, «проблемы жизни»:

*«Мы чувствуем, что, если бы и существовал ответ на все **ВОЗМОЖНЫЕ** научные вопросы, проблемы жизни не были бы при этом даже затронуты»².*

Причем интересно, что имеют смысл лишь те проблемы, которые касаются существующего в мире положения вещей, а именно — естественно-научные проблемы. Следовательно, о том,

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 6.4. С. 212.

² Там же. 6.52. С. 218.

что касается «проблем жизни», о проблемах этики и ценности не может быть сказано осмысленно. Для лучшего понимания этого пункта вспомним: чтобы иметь смысл, предложение должно обладать условиями истинности, а значит, отображать возможное положение вещей, потенциальное существование которого носит случайный характер; это приводит нас к тому положению вещей, которое существует в мире, точнее, которое не могло бы не существовать, и потому лишенному всякой ценности.

«Проблема жизни», о которой несколько загадочно говорит Витгенштейн, — это, по-видимому, проблема задач, которые мы ставим перед собой, или, если угодно, наших жизненных целей. В чем состоит смысл моей жизни? Подобный вопрос, разумеется, не имеет никакого отношения к фактам. Он предполагает некое глобальное видение мира во всей его совокупности; благодаря этому видению совокупность существующих положений вещей приобретет упорядоченность и смысл. Однако мы можем осмысленно говорить лишь о том, что потенциально имеет место *в* мире, уж точно не в мире как в совокупности, поскольку тогда придется признать, что мир сам является положением вещей, которое могло бы не существовать. Существование мира проявляется в том факте, что мы пользуемся языком, позволяющим формулировать предложения, которые могут быть истинными или лож-

ными, то есть осмысленными; это, естественно, относится и к сфере невыразимого, поскольку является самым условием того, что мы можем в принципе говорить о чем-либо.

Из всего вышеизложенного следует, что мы должны молчать о проблемах, затрагивающих смысл мира и жизни, и это может быть показано и выполнено каждым. Смысл моей жизни — это то, что я показываю, живя так, как живу, а не то, о чем я разглагольствую в кругу друзей. Витгенштейн вовсе не стремится уменьшить значимость этических проблем; наоборот, он пытается их защитить, если можно так сказать, от «выражения посредством языка», в результате которого они превратились бы во второстепенные проблемы, поскольку с помощью наших языков можно выразить осмысленно только то, что является несущественным и, значит, лишенным подлинной важности. Вышеизложенное дает ключ к пониманию отрывка из письма, написанного Витгенштейном фон Фикеру, который мы приводили в начале книги, а сейчас напомним:

«[В предисловии] я хотел написать, что моя работа состоит из двух частей: к первой из них, представленной здесь, нужно добавить все то, что я не написал. И именно эта часть является более важной. Моя книга очерчивает границы

*Этики, так сказать, изнутри... В общем, думаю, что, смолчав, я повторил то, о чем сегодня **многие** без толку говорят».*

Однако пришло время пойти дальше и напомнить то, что было сказано ранее о метафизических проблемах. Одно из ключевых положений «Трактата» заключается в том, что предложение является осмысленным только в силу того, что имеет общую с реальностью форму, которая, как мы знаем, невыразима в языке. Следовательно, в любом языке существует некое «логическое» *a priori*, которое может лишь показать себя, но о котором ничего нельзя сказать, и это *a priori* должно быть выявлено в «общей форме» предложения. Как уже отмечалось, естественные языки не обладают достаточной «множественностью», вследствие чего затрудняется восприятие этой общей формы, обуславливающей наличие смысла. Поэтому мы можем строить хоть и грамматически правильные, но полностью бессмысленные предложения. «Бессмысленные» в данном случае означает то, что эти предложения не только лишены условий истинности, но и подчас пытаются сказать нечто о том, о чем нельзя говорить, в частности о форме. Таковыми являются предложения метафизики.

Ранее уже шла речь об ошибочном представлении, согласно которому логика как наука — в таком виде, в каком она представлена в аксио-

математических системах Фреге и Рассела, — устанавливает истины в привычном смысле этого слова, за тем лишь исключением, что эти истины, в отличие от обычных истин, носят необходимый характер. Математика, и особенно направление, связанное с теорией множеств, порождает схожую иллюзию — отсюда распространенное мнение о том, что она имеет дело с необычными сущностями, а именно с умопостигаемыми или идеальными сущностями.

Витгенштейн полагал, что смог доказать в своей работе, что математика и логика обладают одинаковым статусом: логические предложения, равно как и математические предложения, показывают логические свойства языка и мира. Из этого следует, что ни логика, ни математика не являются «науками» в привычном смысле слова — они лишь выявляют форму, причем обманчивым способом, преподнося полученные результаты в виде предложений, которые грамматически похожи на обычные предложения, то есть способны быть истинными или ложными, а также способны говорить о происходящем в мире.

Именно вследствие этой обманчивости многие философы и математики видели в этих так называемых науках «чистые» науки: если считать, что логика и математика действительно имеют дело с «истинами», то придется признать, что в данном случае речь идет не об эмпириче-

ских истинах; эти науки основаны лишь на опыте чистого разума. Этим объясняются присущие им необходимость и универсальность, которых лишены естественные науки. В этом смысле существование математики, возможно, опровергает эмпиризм — философскую концепцию, согласно которой любое знание проистекает из опыта, — и укрепляет идею о том, что «чистый разум» способен самостоятельно порождать истинное рассуждение. Исходя из этого, можно легко прийти к мысли, что разум, независимо от опыта, способен развивать теории, претендующие на истинность, а главное, что занятие метафизикой является вполне законным.

Доказывая, что логика и математика лишь выявляют формы, Витгенштейн одновременно показывает, что так называемые суждения, использующиеся в этих науках, не выражают в строгом смысле слова никакой «истины», поскольку ничего не «говорят». Этот вывод является чрезвычайно важным, так как позволяет примирить эмпиризм с логикой и математикой: в том, что математика обязана своей необходимостью единственно тому факту, что она ничего не говорит, а лишь выявляет форму рассуждений, касающихся реальности, не следует усматривать особо значительный вид истин, основанием которых не может являться опыт. Именно этот вывод вызвал большой интерес у мыслителей, входивших в состав «Венского кружка»

в 1920-е годы. Они пытались развить «научное понимание мира», согласно которому лишь науки, основанные на опыте (физика, химия и т. п.), — к числу коих метафизика, разумеется, не относится — способны порождать истины. Ясно, что, устраняя затруднение, которое представляют собой логика и математика для эмпиризма, «Трактат» стал для членов «Венского кружка» ценным союзником в борьбе с метафизикой. Поэтому, как говорилось ранее, они попросили Витгенштейна в конце 1920-х годов встретиться с ними и объяснить суть его «Трактата».

В более широком смысле метафизика, с точки зрения Витгенштейна, возникает с момента попытки рассуждения о логической форме, и это относится прежде всего к формальным свойствам объектов и к положениям вещей, в которые они могут входить. Мы видели выше, каким образом можно выразить в виде так называемых необходимых предложений эти формальные свойства, которые должны легко обнаруживаться при осмысленном употреблении того или иного выражения.

«Тот факт, что нечто подводится под формальное понятие [то есть под формальное свойство] как его объект, не может быть выражен предложением. Но это обнаруживается в знаке самого этого объекта. (Имя показывает, что оно

обозначает объект, знак числа — что он обозначает число и так далее)», — пишет Витгенштейн¹.

Применительно к нашему примеру «быть объектом» и «быть числом» — это не свойства, которыми может обладать тот или иной объект в такой же степени, в какой можно сказать о столе, что он круглый или квадратный. Смешивая эти два типа свойств, мы ввязываемся в рассуждение, которое представляется осмысленным, тогда как в действительности таковым не является. Поэтому «Трактат» заканчивается соображением относительно задачи философии (такой, какой ее видел Витгенштейн):

«Правильным методом философии был бы следующий: не говорить ничего, кроме того, что может быть сказано, — следовательно, кроме предложений естествознания, — то есть того, что не имеет ничего общего с философией, — и затем всегда, когда кто-нибудь захочет сказать нечто метафизическое, показать ему, что он не дал никакого значения некоторым знакам в своих предложениях»².

У читателя может возникнуть закономерное удивление: разве в самом «Трактате» не ведет-

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 4.126. С. 96–98.

² Там же. 6.53. С. 218.

ся речь об объектах, функциях, форме предложения и т. п. — обо всех тех вещах, о которых, по признанию самого Витгенштейна, нельзя говорить осмысленно? Разумеется, да. Потому-то к вышепроцитированному отрывку философ прибавляет:

«Мои предложения поясняются тем фактом, что тот, кто меня понял, в конце концов уясняет их бессмысленность, если он поднялся с их помощью — на них — выше их (он должен, так сказать, отбросить лестницу после того, как взберется по ней наверх)»¹.

Итак, понимать «Трактат» значит уметь молчать.

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 6.54. С. 218.

IV

**«НАЗАД,
НА ГРУБУЮ
ПОЧВУ!»¹**

¹ *Витгенштейн Л.* *Философские исследования*, § 107.
(Все цитаты из этой книги Витгенштейна по ряду причин мы переводим непосредственно с французского текста, не ссылаясь на русское издание. — *Примеч. ред.*)

Ошибки «Логико-философского трактата»

Витгенштейн действительно замолчал на десять лет. Затем он вновь принялся философствовать. Он считал, что решил все проблемы — в самом деле, отчего бы окончательно не замолчать? Новый этап философской деятельности Витгенштейна, начавшийся в 1928–1929 годах, вначале был связан с просьбами разъяснить содержание «Трактата», с которыми обратились к нему члены «Венского кружка». Мало-помалу, в ходе бесед с ними — особенно с молодым философом и математиком Фрэнком Рамсеем, а также с экономистом из Кембриджа Пьеро Сраффой, — он понял, по его собственному признанию, что в «Трактате» содержится «много ошибок», о чем написал в предисловии к «Философским исследованиям».

Эти «ошибки» касались преимущественно одного из важнейших тезисов «Трактата», который Витгенштейн выразил следующим образом:

«Имеется один, и только один полный анализ предложения»¹.

Как отмечалось ранее, лишь приняв это утверждение, можно быть уверенным в репрезентативном характере образа или предложения, включающего сложные имена. Признав наличие ошибки, Витгенштейн тем самым отказался от данного тезиса — одного из тех, на которых базировалась его первая работа. Коротко перечислим эти «ошибки».

Первый и наиболее важный тезис трактата касался независимости элементарных предложений. Согласно ему, истинность или ложность одного элементарного предложения не зависит от истинности или ложности другого элементарного предложения. С этим тезисом перекликается тезис о двух возможностях для положения вещей: оно либо существует, либо не существует, независимо от того, существует или не существует другое положение вещей. Из этого следует, что одно элементарное предложение не может противоречить другому элементарному предложению и что элементарное предложение не может быть выведено из одного или нескольких элементарных предложений. «Трактат» убеждает нас в том, что между элементарными

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 3.25. С. 58.

предложениями отсутствуют *логические* отношения (противоречия или вывода).

Витгенштейн меняет свою точку зрения по этому вопросу, рассмотрев предложения типа: «длина линии L равна 1,35 м» и «точка T — зеленая». Из истинности этих предложений, по-видимому, следует, что предложения «длина L равна 1,36 м» и «точка T — красная» являются сложными. Другими словами, предложение «длина L равна 1,35 м» противоречит предложению «длина L равна 1,36 м». В «Трактате» это явное противоречие вынудило Витгенштейна утверждать, что такого рода предложения в действительности не являются элементарными, а это значит, что их анализ привел бы к предложениям, которые перестали бы противоречить друг другу. В конечном счете Витгенштейн утверждает в убеждении, что это невозможно, поскольку нельзя не признать наличия подобных противоречий даже на самом простом уровне: например, если мы скажем, что координатами точки P в трехмерной системе координат являются $[x, y, z]$, то это будет противоречить предложению, в котором говорится, что координатами P в той же системе координат одновременно являются $[(x+1), y, z]$.

Приходится признать, что между элементарными предложениями также существуют логические отношения, из чего следует, что элементарные предложения не являются независимыми.

А значит, мы сравниваем с реальностью не изолированное предложение, но систему предложений, и, главное, оказывается, что не все логические отношения обнаруживаются в табличном способе изображения, используемом в «Трактате». Словом, «логическое» выходит далеко за пределы одной лишь области молекулярных предложений, которые считаются истинностными функциями элементарных предложений, входящих в их состав.

Вторая «ошибка» «Трактата» состоит в признании того факта, что общие предложения вроде «*все люди смертны*» являются лишь краткими выражениями для конъюнкции (или дизъюнкции в случае предложения «*в коробке лежат шарики*»). В некотором смысле Витгенштейн тем самым признал обоснованность аргумента, выдвинутого Расселом, который мы приводили выше. Эту кардинальную перемену взглядов можно попытаться объяснить следующим образом: соглашаясь с тезисом «Трактата», мы соглашаемся с тем, что общее предложение «туманно» в том смысле, что оно оставляет некоторую неопределенность. Например, когда мы говорим, что в коробке лежат шарики, мы не уточняем ни количество шариков в коробке, ни их точное местонахождение в ней. Следовательно, чтобы смысл наших слов был предельно ясен, нам придется уточнить и количество шариков, и их точное местонахождение в коробке (и, вероятно, еще мно-

гое другое). В итоге у нас получится предложение типа «шарик a имеет координаты $[x, y, z]$, или шарик a имеет координаты $[x', y', z']$, или... и т. д., или шарик b имеет координаты $[u, v, w]$, или шарик b имеет координаты $[u', v', w']$, или...» и т. д. Тогда возникает вопрос: выражаем ли мы при этом то же самое (только с большей точностью), что хотели выразить, говоря, что в коробке лежат шарики? Если мы проявим внимание, то заметим, что зачастую наш ответ будет отрицательным: к примеру, мы просто хотели сказать, что коробка не пустая (и, следовательно, прежде чем использовать коробку в качестве упаковки, нужно извлечь ее содержимое) или что с ней нельзя играть (потому что шарики могут рассыпаться по полу и спровоцировать падение тетушки Нозми)¹.

В таком случае нельзя считать, что запись в виде дизъюнкции говорит то же самое, что исходное, так сказать «туманное», предложение. Общее предложение может иметь вполне определенный смысл, не воссоздаваемый логическим анализом, который «Трактат» считает необходимым. Из этого непосредственно вытекает, что смысл такого рода предложения зависит не

¹ Вопрос о том, «говорит» ли анализированное предложение то же самое, что и неанализированное предложение, был сформулирован британским философом Джоржем Эдвардом Муром под названием «парадокс анализа».

только от его условий истинности, но от того, в каком контексте оно употребляется и каким образом это делается.

Совершенно очевидно, что признание наличия этих двух «ошибок» доказывает несостоятельность постулата логического анализа: в первом случае мы вынуждены признать, что истинностное значение молекулярного предложения зависит не только от истинностных значений входящих в него элементарных предложений (принцип истинностной функциональности). Если истинность или ложность элементарного предложения зависят не только от существования или несуществования изображаемого им положения вещей, но и от истинности или ложности других элементарных предложений, то то же самое можно сказать о молекулярном предложении, в котором присутствует это элементарное предложение. В этом смысле логический анализ молекулярного предложения не позволяет выявить условия истинности, а главное, вышеуказанные условия истинности невозможно показать в логической символике.

К подобному выводу приводит и отказ от содержащегося в «Трактате» тезиса об истинностно-функциональном характере кванторов, поскольку в таком случае отвергается возможность сведения общих предложений к элементарным предложениям.

Подвергнув пересмотру постулат о логическом анализе, Витгенштейн разрушил большую часть своей теории, изложенной в «Трактате», в особенности все, что относится к утверждению о том, что смыслом любого предложения являются его условия истинности, а также следствие этого утверждения, служившее поддержкой тезису, согласно которому правильная логическая символика должна показывать условия истинности всех сложных предложений. Более того, можно сказать, что это негативно отразилось на статусе разъяснительной работы, которую пытался осуществить философ в «Трактате». Говоря точнее, таким образом высвечивается один из основных недочетов его работы, на который не обращали внимания из-за ее явного успеха.

Как мы помним, один из выводов, к которым привела изложенная в «Трактате» теория, касающаяся предложений, заключается в том, что предложение «показывает» свой смысл (то есть свои условия истинности). Другими словами, элементарное предложение показывает, что отображает положение вещей, а молекулярное предложение — с какими истинностными возможностями входящих в него элементарных предложений оно согласуется. Мы также помним, что в «Трактате» проводится четкое различие между тем, что может быть «показано», и тем,

что может быть «сказано», то есть нельзя говорить что-либо о том, что показано. Следовательно, наличие смысла у предложения мы не можем выразить с помощью языка — оно должно само показать себя «в» предложении. В более общем плане из этого вытекает мысль о том, что невозможно создать теорию, которая бы объяснила, что означает наличие смысла у предложения и при каких условиях оно его обретает.

А ведь именно это пытался сделать в «Трактате» Витгенштейн посредством образной теории предложения! Итак, совершенно понятно, что предложения, составляющие данную работу, в конечном счете не имеют смысла, поскольку позволяют говорить о том, что должно быть «безмолвно» показано. Именно это подчеркивает Витгенштейн в предпоследнем утверждении, которое было процитировано в конце предыдущей главы.

Что ж, смирится с этим занятным отрицанием, как и с тем, что мы отбросили лестницу, взобравшись по ней наверх. Тем не менее напрашивается один вопрос: Витгенштейн считал целесообразным написание «Трактата» потому, что, по его собственному признанию, «мы не понимаем логики нашего языка»¹; как уже отмечалось, данное замечание относится в том числе и к философам. Это равнозначно утверждению,

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 4.003. С. 74.

что мы способны образовывать посредством языка предложения, показывающие смысл, который в действительности они не могут показывать, поскольку лишены его. Говоря, что предложения «показывают смысл», мы, по-видимому, играем словами, ведь нам следовало бы сказать, что они делают вид, что показывают смысл. Для объяснения столь странной ситуации, должно быть, потребуется прибегнуть к какой-нибудь психологической теории.

Однако главная проблема состоит не в этом. Вся загвоздка в том, что концепция смысла предложений, которую философ развивает в «Трактате», приводит к выводу о том, что нет ничего *до* «смысла». Наличие смысла у предложения невозможно ни установить, ни доказать; оно либо его имеет, либо не имеет, и точка. Мы можем только *констатировать*, что понимаем предложение, но это всего лишь признание факта. Теперь отметим, что мы понимаем предложение типа « $\sqrt{3}$ является числом». Из этого следует, что это предложение имеет смысл. Однако, если придерживаться теории, изложенной в «Трактате», нужно признать, что это не так. Говоря точнее, мы должны признать, что лишь *после* прочтения «Трактата» мы зададимся вопросом о том, имеет оно смысл или нет; это означает, что одной констатации наличия смысла у предложения нам мало — мы пытаемся его установить.

Тем самым при чтении «Трактата» мы вынужденно занимаем в отношении предложений позицию, идущую вразрез с развиваемой в нем концепцией пропозиционального смысла... Это несоответствие нашло свое отражение в любопытном утверждении, сделанном Витгенштейном, которое, кажется, противоречит всему тому, что он пытался сформулировать в своем труде:

«Все предложения нашего разговорного языка являются фактически, так, как они есть, логически полностью упорядоченными»¹.

Разумеется, можно попытаться отыскать способ понять это очевидное противоречие. Витгенштейн задумал «Трактат» с целью, ни больше ни меньше, выявить сущность *любого* языка или, если угодно, сущность того, благодаря чему на *некоем* языке возможно строить предложения, которые не будут простой чередой звуков или графических знаков. Признавая, что все элементарные предложения, как правило, имеют форму «дело обстоит так», а остальные являются «истинностными функциями» элементарных предложений, «Трактат» фактически выходит за пределы какого-либо определенного языка. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно понять, что таблица 16 истинностных функций, представ-

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 5.5563. С. 172.

ленная в предыдущей главе, *a priori* охватывает все возможные истинностные функции, используя только комбинаторные принципы.

Эта «сущность» или «логика» любого языка «погребена» в нем и, соответственно, неявно выражена в наших естественных языках. По этой причине в случае невозможности ознакомиться с содержанием «Трактата» мы не всегда понимаем логику этих языков и увязаем в бесплодных умопостроениях. По сути дела, мы должны признать, что, формулируя философские нелепицы, мы не формулируем «подлинные» предложения, хоть в силу недостатка собственных познаний в области логики можем вообразить, что имеем дело с вполне соответствующими предложениями. Напротив, когда мы формулируем «подлинное» предложение, все находится на своих местах, и логический анализ выступает в данном случае лишь как способ раскрытия того, что мы *действительно* сказали. В этом смысле можно признать, что Витгенштейн исходит из *факта* существования смысла и просто показывает в «Трактате», что из этого в целом следует; таким образом он пытается выявить то, что мы имплицитно допускаем при формулировании предложений.

Такого рода рассуждения, изложенные, скорее всего, отнюдь не исчерпывающе, не устраняют сути проблемы, которая заключается в следующем: раскрывая таким образом сущность

языка, мы будем непременно вынуждены поместить себя *до* смысла, поскольку, согласно нашей теории, это подводит нас к различению между «иметь смысл» и «по-видимому, иметь смысл», между подлинными предложениями и псевдопредложениями.

Подобная проблема может показаться относительно несущественной только потому, что в «Трактате» действительно представлена теория, на основе которой возможно создать символику, в коей *проявляются* условия истинности предложений. Потенциальная шаткость данной теории в какой-то степени компенсируется тем, что она позволяет создавать символику — или давать о ней представление, — которая бережно относится к статусу того, что «может быть лишь показано, но не сказано». Все предложения в «Трактате», разумеется, бессмысленны, но стоит нам понять, к осознанию чего нас хочет подвести автор, как мы получаем безукоризненный результат.

Ясно, что вследствие изменений, которые претерпели взгляды Витгенштейна в начале 1930-х годов, данная позиция перестала быть приемлемой, поскольку она приводила к аннулированию положительного результата, достигнутого «Трактатом», и делала очевидными все недостатки условно-истинностной теории значения. Попытаемся уточнить, от чего придется отказаться, а что — оставить в первой работе Вит-

генштейна после его отхода от постулата о логическом анализе.

Во-первых, из вышесказанного следует, что больше невозможно признавать существование некоей «сущности» языка, независимой от какого-либо конкретного языка, а также от его географических и исторических характеристик. Как мы помним, данный тезис может применяться лишь в том случае, если можно *a priori* и в полном объеме создать совокупность предложений, которые могут быть образованы из элементарных предложений как их истинностные функции. Именно этот пункт поставлен под сомнение из-за отрицания постулата об анализе. Отсюда следует отказ от идеи, согласно которой «логика нашего языка» может быть выявлена раз и навсегда. И наоборот, мы должны признать, что между некоторыми предложениями, которые можно образовать в обыденных языках, существуют логические отношения, которые Витгенштейн называл также внутренними отношениями, которые являются «неприводимыми» в том смысле, что их нельзя подвести к подсчету истинностных функций. Вопрос в том, каким образом можно показать подобные отношения, учитывая, что мы больше не располагаем *единственной* общей формой предложения, а также в том, нужно ли вообще пытаться это делать.

Во-вторых, отрицание постулата об анализе не затрагивает другое важное положение «Трак-

тата», идею, согласно которой все, что мы говорим, имеет смысл в силу определенного количества *априорных* требований, которые Витгенштейн назвал в своей первой работе «логической формой». В «Трактате» эта идея казалась несколько загадочной, однако по сути она находит свое соответствие в одном вполне обыденном свойстве естественных языков.

Мы можем начать говорить осмысленно и формулировать имеющие смысл предложения только в случае, если заранее принимаем, и притом, как правило, негласно, правила грамматики языка, на котором говорим. Казалось бы, банальность, но небезыңтересная: если мы хотим, чтобы нас понимали окружающие, нам нужно по умолчанию и зачастую без лишних разговоров принять правила, благодаря которым эти разговоры и делаются возможными. Самое интересное состоит в следующем: мы можем разговаривать обо всем, кроме правил грамматики, которые заранее обуславливают тот факт, что мы формулируем имеющие смысл предложения. Говоря более образно, мы можем разговаривать о грамматике, только если располагаем «предграмматическим» или «аграмматическим» языком, то есть языком, который еще не является языком, что само по себе абсурдно.

Бесспорно, существует немало людей, которые рассуждают о грамматиках естественных языков с целью установить их правила. Однако,

как мы видим, для этого им приходится также без лишних разговоров принимать эти правила. К примеру, если грамматист говорит: «Предложение должно состоять из именной синтагмы и глагольной синтагмы», он предполагает, что его читатель и он сам принимают данное правило, поскольку сообразно с ним он построил предложение, которое читатель должен понять. Предположим, что мы ставим это правило под вопрос; при этом мы будем вынуждены прибегнуть все к тем же предложениям, состоящим из именной синтагмы и глагольной синтагмы...

«Логическая форма», представленная в «Трактате», по сути дела, влечет за собой очищенную, так сказать, общую для всех языков грамматику. В некотором смысле речь идет о создании «логической грамматики», которая бы позволяла знать условия истинности каждого образованного предложения. Исчезновение этого стремления вследствие отказа от постулата об анализе не отменяет того факта, что мы можем формулировать осмысленные предложения только на основании негласного принятия всякого рода правил. Так мы возвращаемся к одной из главных тем «Трактата», суть которой заключается в том, что мы не можем ничего *сказать* о том, что является условием смысла, потому что не можем поместить себя *до* смысла.

Выявление в «Трактате» логической формы первоначально объяснялось не простыми целями

теоретизирования; прежде всего, планировалось покончить с философскими проблемами, которые возникали по причине плохого понимания «логики нашего языка», и очертить границы того, что можно сказать осмысленно, — очертить «изнутри», по выражению Витгенштейна, границы сферы выразимого. По-видимому, это было необходимо сделать из-за того, что поверхностная грамматика обычных языков скрывает подлинную «логическую форму», вследствие чего люди (и в особенности философы) пытаются рассуждать о том, что должно быть показано, но не сказано. Как же тогда относиться к подобным разъяснениям, если мы признаем, что не можем завладеть этой логической формой и что между некоторыми предложениями в естественных языках существуют логические отношения — вывода и противоречия, — которые нельзя предусмотреть заранее? Следует ли отсюда заключение, что обычный язык, такой, какой он есть, «логически совершенен» и, значит, мы можем полностью довериться ему? И да и нет.

Да, если под «обычным языком» мы понимаем язык, которым пользуемся ежедневно для общения с окружающими на житейские темы. Нет, если принимать во внимание странное и зачастую непонятное употребление языка, имеющее место в определенных обстоятельствах, в частности в так называемых философских дискуссиях, в ходе которых ставятся вопросы, на которые, как

правило, невозможно дать разумные ответы. Философскую «болезнь», о которой говорит Витгенштейн, конечно, нельзя вылечить, показав раз и навсегда *единственную* логическую форму, погребенную в обычных, естественных языках. Но тем не менее это вовсе не означает, что нужно отказаться от идеи о существовании логики языка, которая заранее закрепляет то, что можно сказать осмысленно, поскольку, как упоминалось выше, прежде чем начать формулировать что-либо, нам необходимо негласно принять всякого рода грамматические правила. О последних мы тоже пока не можем сказать ничего осмысленного, однако именно это и пытается сделать «больной» философ, который принимает за предмет обсуждения то, что является всего лишь условием осмысленной речи.

В сущности, Витгенштейн не стал подвергать пересмотру именно этот основной вывод «Трактата» о различии между тем, что может быть сказано и что имеет отношение к миру, и тем, что может быть лишь показано, поскольку в данном случае мы имеем дело с тем, что должны принять безоговорочно, как только намереваемся сформулировать осмысленное предложение. Философские проблемы непременно обусловлены путаницей между этими двумя уровнями, потому-то и важно, если мы хотим покончить с этими проблемами, разграничить «то, что себя показывает» и «то, что может быть сказано».

«Грамматика»

Начиная с 1930-х годов Витгенштейн использует понятие «грамматика» для обозначения совокупности правил, обуславливающих осмысленную речь.

«Грамматика» в понимании Витгенштейна, разумеется, не аналогична той, которую мы изучаем в начальной школе (в дальнейшем для различения этих двух «грамматик» мы будем ставить это понятие в кавычки всякий раз, когда будем употреблять его в особом смысле, которым его наделял Витгенштейн). Для того чтобы лучше понять, что конкретно Витгенштейн подразумевал под «грамматикой», вернемся к примеру, схожему с тем, что приводился ранее. Услышав, что длина ствола дерева равна 1,30 м, можно немедленно заключить, что его длина не равна ни 1,31 м, ни 1,29 м. Это объясняется тем, что ни один ствол не может одновременно иметь две разные длины. Как уже отмечалось, такого рода предложение, по-видимому, сообщает о *необходимом* или, если угодно, *существенном* свойстве любого ствола. С точки зрения Витгенштейна, в данном случае речь идет о грамматически корректном предложении, которое выражает в обманчивой форме лишь одно из правил «грамматики». Если мы пожелаем нарушить это замаскированное правило, у нас получится бессмыслица. Для того чтобы в этом убедиться, до-

статочно задаться вопросом о том, что может означать предложение вроде «*длина этого ствола равна одновременно 1,30 м и 1,29 м*». Вероятно, нам будет под силу вспомнить обстоятельства, при которых мы сформулировали бы подобное предложение: например, Альфред, измерив длину ствола, получил 1,30 м. Однако вслед за ним то же самое проделал Жюль, и полученная им длина составила 1,29 м; Эрнест же принялся надсмехаться над ними, говоря: «Ну и ну! Выходит, длина этого ствола равна одновременно 1,30 м и 1,29 м!» После чего смущенные Альфред и Жюль приступили к новым измерениям и получили одинаковый результат: длина ствола в действительности составляет 1,31 м. Сказанное Эрнестом, безусловно, абсурдно, лишено всякого смысла, и именно так это поняли наши приятели.

Говоря о присутствии здесь замаскированного грамматического правила, Витгенштейн имеет в виду, что такого рода предложение лишь выражает то, что мы подразумеваем под «длинной ствола» и даже под «стволом» в целом. Подобное грамматическое правило показывает одну из составляющих смысла, которым мы наделяем слово «ствол» и который мы предполагаем, используя данное понятие. Если кто-то станет всерьез утверждать, что тот или иной ствол имеет две разные длины одновременно, значит, он не наделяет слово «ствол» привычным

смыслом; вследствие чего мы будем вынуждены просить его разъяснить смысл, который он в него вкладывает. Мы видим, что «грамматика» затрагивает не столько синтаксис языка, сколько его семантику.

Как выясняется, соблюдая правила грамматики, мы можем нарушить правила «грамматики».

Именно так зачастую поступают философы, когда считают, что «грамматически правильное» предложение, подобное вышеприведенному, выражает нечто глубинное, касающееся сущности любого ствола. Как видно из приведенного примера, такая путаница возможна по той причине, что мы выражаем в виде предложения то, что на самом деле является лишь правилом грамматики. Предложение *«ни один ствол не может одновременно иметь две разные длины»* схоже с предложением *«ни один ворон не имеет белого оперения»*, а также с предложением *«ни один дуб не растет в Сахаре»*. Два последних предложения выражают существующее в мире положение вещей, которое, впрочем, могло бы не существовать, и поэтому мы можем сказать, что эти предложения истинны, предварительно удостоверившись в этом. В таком случае разумно будет задаться вопросом о том, действительно ли ни один ствол не имеет одновременно двух разных длин. Ответив на него положительно, мы можем считать это предложение истинным в том же

смысле, в каком предложение *«ни один ворон не имеет белого оперения»*, по нашему мнению, является истинным. Вот только оказывается, что оно выражает «необходимый факт» вместо «возможного факта». Отсюда возникает вопрос, чем объясняется подобная необходимость. Вот здесь-то и начинаются трудности!

Дело в том, что философ не видит не столько саму логическую форму, которую намеревался выявить «Трактат», сколько место, занимаемое языком в предложениях типа *«ни один ствол не имеет одновременно двух разных длин»*: вместо того, чтобы «сказать» нечто о длине стволов, данное предложение выражает запрещение: *«о стволе нельзя сказать, что он...»* и т. д., которое явственно проступает, если мы обратим внимание на те случаи (наверняка крайне редкие!), в которых мы вынуждены строить подобное предложение. Факт формулирования запрещения в таком виде, будто речь идет о сущностном свойстве любого ствола, разумеется, способен обескуражить, но мы можем избавиться от иллюзии, что имеем дело с обычным предложением, включив его в совокупность всего того, что мы говорим (или не говорим) о стволах и их длине. И тогда окажется, что оно не выражает ничего сверхъестественного: если мы утверждаем, что ствол имеет одновременно две разные длины, значит, мы говорим не о том, что обычно подразумевается под стволом.

Таким образом, мы оказываемся в ситуации, аналогичной той, когда некто заявляет, что ладья в шахматах может двигаться по диагонали: тем самым он не выражает нечто ложное о ладье, но лишь меняет правила игры или, если угодно, лишь говорит о ладье применительно к игре, отличной от той, в которую мы обыкновенно играем. Конечно, если мы намереваемся играть в шахматы, подобное предложение ставит нас в тупик, и, вероятнее всего, мы попросим нашего собеседника признать на время шахматной партии, что ладья не ходит по диагонали. Схожим образом мы попросим того, кто утверждает, что ствол может одновременно иметь две разные длины, употреблять слово «ствол» в привычном значении, исключаящем возможность сказать о стволе, что он... и т. д.

Подобный подход к философским проблемам, порожденным языковой путаницей, лишь отчасти похож на тот, который Витгенштейн изложил в «Трактате»: в его первой работе предполагалось, что больной философ должен лечить свою философскую болезнь, обнаруживая подлинную логическую форму сказанного (для этого ему потребуется прочитать «Трактат»), и прийти к осознанию того, что обычный язык побуждает его говорить о форме, которая может быть лишь показана. После этого он должен попытаться — возможно, с помощью философского наследия Витгенштейна — перенять, по вы-

ражению автора «Трактата», синоптический взгляд на использование языка, который поможет ему понять, что он путает то, что является лишь способом определения значения слов, с обычными предложениями — теми, которые говорят о мире и о происходящем в нем. И тогда философу станет понятно, что то, что он принимал за нечто «глубинное», на поверку оказывается, по словам Витгенштейна, лишь «грамматической шуткой».

Отсюда следует, что хоть цель осталась прежней, средства для ее достижения коренным образом изменились, что, в свою очередь, не могло не отразиться как на витгенштейновской манере философствовать, так и на некоторых его «философских позициях» (выражение, которое Витгенштейн решительно отвергал).

Философия в таком виде, какой отныне занимается Витгенштейн, должна быть исключительно дескриптивной и воздерживаться от всяких попыток теоретизирования. В противоположность «Трактату», в котором, возможно, вопреки собственной воле философ предлагал, так сказать, теорию значения, отныне его задача состоит лишь в исследовании многообразия форм использования языка. Витгенштейн хотел не открыть нечто новое читателю или слушателю, но напомнить ему о том, о чем он уже знает, о чем, в сущности, он может лишь знать, поскольку владеет языком, на котором выражается. Слово

«Знать» в данном случае не совсем уместно: речь идет не столько о научном знании, сколько о знакомстве, согласии с тем, что руководит употреблением слов. Философская болезнь порождается главным образом тем фактом, что в момент философствования забывается то, что составляет наш способ осмысленного употребления слов вне сферы философии. Итак, витгенштейновская терапия по сути заключается в том, чтобы «копить воспоминания»¹, возвращать слова от философского к их повседневному употреблению, чтобы философ понял, что его проблемы проистекают лишь от частичного, недостаточного видения грамматики этих слов.

В этом смысле метод Витгенштейна II позволяет избежать недочетов «Трактата», приведших Витгенштейна I к осознанию того, что его предложения не имели смысла. Как отмечалось выше, теория, изложенная в «Трактате», может помещаться только до смысла, даже если она приводит к выводу о невозможности говорить осмысленно о том, что может быть лишь показано, в частности о смысле предложения. Дескриптивный метод, используемый Витгенштейном II, ни в коей мере не направлен на формирование теории значения: речь идет лишь о том, чтобы объяснить больному философу, что, делая упор исключительно на ту или иную формулировку,

¹ Витгенштейн Л. Философские исследования, § 127.

которая, по видимости, выражает нечто фундаментальное, он забывает, что это не более чем один из способов определения смысла того, что мы говорим; с чем он неизбежно согласится, если взглянет шире на функционирование языка. Следовательно, разделение между смыслом и бессмыслицей вызвано не какой-то теорией значения, но тем, что мы уже знаем, когда выражаемся на том или ином языке, и что философы, к сожалению, склонны забывать в процессе философских рассуждений.

Произвольность грамматики

Является ли эта манера философствовать столь «невинной», как на том настаивает Витгенштейн? Не влечет ли она за собой, помимо его желаний, массу не вполне ясных концепций? Действительно, возникает вопрос: что позволяет Витгенштейну в отсутствие теории, подобной той, что развивалась в «Трактате», подходить к философским проблемам лишь как к «словесным проблемам»? И даже если речь идет только о словесных проблемах, вполне уместно будет задаться вопросом о том, на каком основании Витгенштейн называет что-то всего лишь правилами «грамматики»? Например: представляется любопытным факт признания нами того, что в значении слова «ствол» содержится отрицание

того, что оно может обозначать нечто, имеющее одновременно две разные длины. Не объясняется ли это тем, что ствол *в действительности* обладает этим качеством?

Метод Витгенштейна ценен в случае, если он позволяет закрыть вышеуказанный вопрос, однако это вынуждает философов согласиться с тем, что правила нашей «грамматики» совершенно не основаны на реальности, то есть они являются целиком и полностью *произвольными*.

Произвольность «грамматических» правил, о которой неустанно говорит Витгенштейн, может подразумевать две вещи. Во-первых, она может означать, что мы вольно и без видимых на то причин предпочли одно правило другому. Следовательно, по своему желанию мы можем выбрать другие правила и в любое время заменить ими уже существующие так, словно меняем правила игры. К примеру, мы можем, предварительно договорившись, поменять правила, определяющие значение слова «ствол», и согласиться с предложением, в котором говорится о том, что ствол может иметь одновременно две длины. Этот вывод трудно принять, поскольку из него, по-видимому, вытекает, что именно мы решаем, может ствол иметь одновременно две длины или нет!

Во-вторых, эта произвольность может означать нечто более простое, но при этом и более интересное. Называя правило игры произвольным, мы тем самым подразумеваем лишь то, что

не можем дать ему такого обоснования, которое впоследствии не подвергли бы изменению. Применительно к правилам «грамматики» это означает, что они в конечном счете необоснованны. Последнее утверждение легко доказывается при помощи простого факта: предположим, я хочу доказать правило, касающееся длины ствола: для этого я пойду взглянуть на «сами» стволы, дабы понять, что они представляют собой «в реальности». В таком случае я должен буду определить, является ли, например, стволом то, на что я смотрю, из чего следует, что мне заранее известно, что подразумевается под словом «ствол». А подразумевается под «стволом» то, что не может одновременно иметь две длины. Так что если я увижу нечто, имеющее две длины, то это не будет соответствовать тому, что подразумевается под словом «ствол», и, следовательно, я не смогу сказать, что действительно нашел ствол, имеющий одновременно две длины.

Очевидно, здесь мы ходим по кругу: чтобы узнать, что мне нужно искать, я должен знать значение слова «ствол», однако наличие у меня такого знания сразу же исключает возможность найти ствол, который имеет одновременно две разные длины, поскольку это будет вовсе не ствол (то есть не то, что «называют» стволом). Следовательно, у меня нет ни единого шанса отыскать ствол, имеющий одновременно две длины. Означает ли это, что стволы именно та-

ковы в реальности? Конечно, нет! Это лишь означает, что «грамматика» слова «ствол» устроена так, что не позволяет нам называть «стволом» то, что может иметь одновременно несколько длин. Если мы все же это сделаем, значит, мы наделяем слово «ствол» иным значением. Следовательно, мы не выходим за пределы «грамматики». Как писал Витгенштейн в одном из своих сочинений начала 1930-х годов:

«Грамматика ни в чем не обязана отчитываться перед реальностью. Грамматические правила лишь определяют значение (лишь создают его), посему они не несут ответственности перед значением и в этом отношении являются произвольными»¹.

Для объяснения этого важнейшего пункта Витгенштейн иногда сравнивает правило «грамматики» с единицей измерения: выбор единицы длины делает возможным измерение, например, ствола, и полученная длина будет либо истинной, либо ложной. Однако выбор именно этой единицы длины, а не другой — это не выбор единицы длины, которая более или менее «истинна» по сравнению с другой. Иначе говоря, как только мы остановились на определенной единице измерения, мы можем приступить к измерению

¹ Wittgenstein L. Grammaire Philosophique, I, § 133.

стволов или чего-либо еще, но, несомненно, не сможем измерить то, что служит для измерения. Это приводит Витгенштейна к слегка провокационному утверждению, что международный эталон метра, хранящийся в Палате мер и весов в Севре, сам не равен 1 метру, хотя мы и соотносимся с ним, как с эталоном, когда желаем понять, что являет собой 1 метр.

Произвольность «грамматики» — это не совсем тот тезис, который защищал Витгенштейн; впрочем, с его точки зрения, это не тезис вовсе, хотя приведенные выше соображения могут, по видимости, послужить доводом в пользу этой произвольности. Скорее, речь идет о чем-то, что мы будем вынуждены признать, если расширим свое видение функционирования языка. Описание форм использования языка, которое пытался осуществить Витгенштейн, приводит нас к мысли, что, если мы хотим продолжить искать обоснование, нам придется лишь предположить именно то, что мы стараемся обосновать, как было видно из примера со стволом. На этом этапе нам нужно остановиться и перестать «копать», в противном случае мы неминуемо окажемся на поверхности.

Философская «болезнь» характеризуется главным образом этой неспособностью остановиться в поиске обоснований или причин. Философа, как правило, заботит основание, поэтому он беспрестанно ищет прочную скалу, на которой

зиждется структура мироздания и наше знание о нем. В ходе поиска основания всего и вся он наталкивается на то, что Витгенштейн называет «границами языка», которые пытается преодолеть. И при этом набивает себе немало шишек! Поэтому лечение философской болезни заключается в попытке выявления этих границ изнутри; в результате чего «больной» философ осознает, что то, что он принимал за истины, нуждаясь в основании, на самом деле является лишь грамматическими правилами, о которых он может только догадываться в тот самый момент, когда задается вопросом об их обосновании. В сущности, можно пытаться обосновать лишь то, что может не существовать, а ведь именно это мы не способны признать в отношении того, что является всего лишь правилом «грамматики»: одна из главных характеристик «грамматических» предложений типа *«ствол не может иметь одновременно две длины»* состоит как раз в том, что их отрицание лишено смысла.

Витгенштейн неоднократно повторяет, что все объяснить невозможно, а поэтому нужно уметь останавливаться в поиске объяснений.

Означает ли это, как предполагалось выше, что мы можем по своему усмотрению выбирать то или иное правило «грамматики»? Другими словами, влечет ли это за собой некую направленность на принятие решения, которая неподвластна границам реальности? И да и нет.

Для того чтобы лучше понять это, рассмотрим пример с математическими предложениями. Как мы помним, в «Трактате» утверждается, что, как и логические предложения, математические предложения лишь показывают логическую форму; следовательно, они не имеют смысла. Витгенштейн II переформулировал этот тезис применительно к «грамматике»: математические предложения — это не более чем «грамматические» правила, ведь они ни о чем не говорят, а только обрисовывают формы фактов. По мере своей эволюции математика *изобретает* новые формы изображения фактов.

Данная позиция противоречит всему тому, что мы приняли в отношении математики, поскольку, по-видимому, речь идет о науке, в которой по преимуществу проявляется стремление аргументировать положения, которые она выдвигает: доказывая теорему, математик уверен, что дает ей окончательное обоснование, приводит самое исчерпывающее доказательство из всех, что можно представить для истины. Поэтому математика представляет собой типичный пример непрерывного поиска основания, которым озабочены философы. Так, в конце XIX века немецкий математик Георг Кантор изобрел хорошо известную сегодня «теорию множеств», которая лежит в основе всей математики. Другими словами, мы можем вывести из этой теории всю математику. Однако в этой

фундаментальной теории обнаружили недостатки, затронувшие всю совокупность математических дисциплин. Следствием этого явился так называемый «кризис оснований математики», который на протяжении первых десятилетий XX века был предметом оживленной полемики в философско-математических кругах, одним из главных действующих лиц которой был Бертран Рассел.

Интерес Витгенштейна к проблеме оснований математики связан лишь с его желанием доказать отсутствие необходимости подводить под математику какое-либо основание, и посему подобная проблема не должна существовать. Это приводит его к утверждению, что математика ничего не *устанавливает*, а лишь *изобретает* формы изображения, принадлежащие «грамматике» обычного языка, в том смысле, что они определяют, что имеет смысл говорить о мире. Это означает, например, что простое арифметическое предложение вроде $4 + 3 = 7$ позволяет заключить, что при наличии у нас 4 груш и 3 яблок в общей сложности мы имеем 7 фруктов. То же самое предложение *запрещает* нам предполагать, что в подобных условиях у нас имеется 8 фруктов, не потому, что это неправда, а потому, что в этом нет никакого смысла. Попытаемся объяснить это следующим образом: если в результате подсчета фруктов у нас получится 8 фруктов вместо 7, то мы не станем подвергать

сомнению истинность предложения $4 + 3 = 7$, а просто признаем, что неверно их подсчитали.

В каком же тогда смысле можно рассматривать $4 + 3 = 7$ как произвольное правило нашей «грамматики»? Разве мы не имеем дело с одной из тех истин, которые настолько непреложны, что усомниться в них невозможно, что, однако, не препятствует возможности расценивать ее как произвольную? Иначе говоря, вольны ли мы изменить это предложение-правило?

Такого рода вопрос относится к числу наиболее важных в философии. Нам бы хотелось думать, что с подобным предложением можно согласиться только в случае некоей превозмогающей нас необходимости, которой мы обязаны подчиниться. Иначе нам будет не за что зацепиться, мы потеряем уверенность в чем бы то ни было! Витгенштейн в данной ситуации прежде всего задается вопросом: что означает само принятие нами другого правила? Трепеща от ужаса при мысли о том, что математика может не соответствовать истине, мы не учитываем того факта, что имеем крайне смутное представление о другой математике.

Факт использования нами именно этой арифметики, а не другой или даже не использования никакой арифметики, безусловно, не является отдельно стоящим, но входит в более широкую совокупность «предпочтений», составляющую, по выражению Витгенштейна, «форму жизни».

Разумеется, в конце концов мы неспроста считаем числа именно так, а не иначе; в частности, это связано с тем, что подсчитываемые нами предметы обладают определенным постоянством — то есть не появляются и не исчезают, когда им заблагорассудится, — а также ограничены во времени и пространстве; сюда же следует присовокупить и потребности повседневной жизни, торговли и даже эстетические соображения и т. д. Все вышеуказанное заставляет нас признать, что при наличии у нас 4 груш и 3 яблок мы не можем сказать, что в совокупности имеем 8 фруктов. В этом смысле было бы легкомысленно полагать, что можно по своему желанию изменять арифметику, поскольку это повлечет за собой значительный переворот в нашем укладе жизни.

Тем не менее предположим, что мы живем в мире, в котором при соединении нескольких яблок с несколькими грушами внезапно возникает новый фрукт (к примеру, *яблоша*), и так происходит при соединении любых других предметов; тогда, вероятно, мы откажемся от нашей арифметики. Так что факт существования эмпирических оснований, благодаря которым математика является тем, чем она является, вполне очевиден, но в нем нет ничего сверхъестественного; и уж конечно из этого не следует, что мы обязаны соглашаться с тем, что математика представляет себя так, словно в ней заключено нечто необходимое.

Почему же тогда нам кажется, что $4 + 3 = 7$ является необходимой истиной и вообще что «грамматические» предложения выражают необходимые истины? Витгенштейн пытается донести до нас, что эта кажущаяся необходимость зависит лишь от того, как мы употребляем подобные предложения: объясняя ребенку, что $4 + 3 = 7$, мы используем кубики и спички, но отнюдь не просим его *установить* с помощью этих кубиков и спичек, что $4 + 3 = 7$; наоборот, тем самым мы убеждаемся, что он хорошо усвоил это правило; и если он заявит нам, что, по его мнению, $4 + 3 = 8$, мы ответим ему, что он ошибся, поскольку у него *должно* было получиться 7. Очевидно, в данном случае арифметическое предложение не служит для описания того, что мы констатируем, но выступает нормой описания, то есть это предложение выражает то, что является лишь *правильным* описанием. Итак, это предложение можно назвать необходимым только потому, что *мы*, по выражению Витгенштейна, «неотступны в его употреблении»¹. «*Необходимо, чтобы $41 + 13 = 54$* » означает лишь, что мы требуем от того, кто считает, именно *этого* результата и отказываемся признавать правильным вычисление с другим результатом. В этом смысле необходимость

¹ Wittgenstein L. Remarques sur les Fondements des Mathématiques, I, § 118.

появляется лишь в употреблении нами такого рода предложений, безотносительно к их содержанию.

Следовательно, «грамматика» является нормативной в том смысле, что она собирает то, что принято нами в качестве шаблонов или парадигм, с которыми мы сообразуемся, когда собираемся сказать что-либо, и которые бессмысленно пытаться обосновывать или обсуждать, поскольку их нужно принять до речевого акта. Таким образом, произвольность «грамматики» в сущности означает, что она не поддается обоснованию, так как находится вне пределов досягаемости любого обсуждения.

Из этого вытекает, что бессмысленно пытаться изменить или преобразовать что-либо в этой области, в противоположность тому, о чем тема произвольности заставляет нас слишком поспешно думать: витгенштейновский философ оставляет все в неприкосновенности, он может лишь описать сложившееся положение вещей, а его единственное желание — обрести синоптический взгляд на мир. Поэтому произвольность «грамматики» созвучна нейтральности описания: когда Витгенштейн убеждает читателя оставить попытки обосновывать что-либо, он возвращается к форме «дело обстоит так»¹: это данность, на которой нужно остановиться.

¹ Витгенштейн Л. Философские исследования, § 217.

Однако пойдём дальше. В конечном счете то, на чем нам нужно остановится, и является основой повседневной жизни: мы способны уживаться друг с другом, лишь если нас объединяют обширные области бесспорного, если мы сходимся в том, что имеет смысл говорить. Изучение любого языка заключается не только в умении строить предложения согласно правилам грамматики, но и в способности договариваться с другими людьми относительно суждений, которые впоследствии не будут поставлены под сомнение. В этом смысле Витгенштейн приходит к утверждению о том, что говорение — это действие в рамках «формы жизни», общей для коллектива. Это означает, что мы следуем одним и тем же правилам, единственное обоснование которых состоит в том, что они являются общими и мы единодушно признаем их таковыми.

Язык и правила

«Следование правилу» представляет собой странный процесс. С начала 1930-х годов, то есть со второго периода своего творчества, Витгенштейн часто прибегает к понятию *правила* в целях разъяснения статуса необычных предложений, которые, по-видимому, выражают необходимые факты. Для этого Витгенштейн, как отмечалось выше, пытается показать, что эти

предложения являются не настоящими предложениями в привычном смысле, как, например, предложение «*в Нанте идет дождь*», но правилами нашей «грамматики», которые определяют значение составляющих ее слов. В начале 1930-х годов Витгенштейн зачастую сравнивает правила грамматики с правилами игры или правилами счета, желая тем самым объяснить, что, во-первых, правила произвольны, а во-вторых, что эта произвольность ни в коей мере не мешает нам договориться применять их одинаково. Другими словами, то, что правила игры были установлены без достаточных оснований, не означает, что в игру, которую они определяют, нельзя играть надлежащим образом, то есть при каждом ходе мы знаем, что нам разрешено, а что запрещено.

Одна из философских проблем, касающаяся преимущественно области оснований математики, связана с идеей о том, что если нельзя окончательно обосновать правила, которые руководят расчетами или использованием языка в целом, то становится непонятно, по какой причине мы все принимаем одинаковые правила и договариваемся о том, каково их правильное применение. Мы все не просто так признаем, что у ствола должна обязательно иметься длина; на это наверняка есть *причина*, которая может быть непосредственно связана лишь с самой природой ствола, и т. д. Итак, Витгенштейн ис-

пользует сравнение с игрой, чтобы разъяснить, что мы все можем условиться относительно того, что является разрешенным ходом в шахматах, без лишних обоснований, для которых требуются ссылки на некую «сущность» ферзя или коня...

Эта витгенштейновская концепция, по всей видимости, опирается на идею, что мы в некоторой степени вынуждены применять то или иное правило одним-единственным способом. Поэтому нам не составляет труда прийти к соглашению о том, какое применение правила будет считаться верным. Мы опираемся не на сущность ферзя, но на свойство правила, которое состоит в том, чтобы определять заранее и однозначно то, что нам дозволено и запрещено делать во время игры. Разве это не менее загадочно? И в основе объяснения, данного Витгенштейном, не лежит ли нечто еще более невразумительное, чем то, что он пытается растолковать?

Проблема становится еще очевиднее, если учитывать, что Витгенштейн ставил себе одной из главных задач ограничиться исследованием окружающих нас вещей, которые стали настолько привычными, что мы перестали обращать на них внимание, а также попытаться предотвратить типично философскую привычку выходить за пределы данности. Сравнение «грамматических» предложений с правилами игры, безусловно, позволяет нам понять, что отсутствие обоснования не влияет на быстрое достижение между нами

договоренности о том, какое применение правила считать верным. Однако цена, которую мы платим за это, представляется чрезмерно высокой, поскольку необходимо признать наличие в правиле загадочного нечто, которое нами тайно руководит или является тем, что мы воспринимаем заранее, не вполне отчетливо, пунктирно, в качестве правильного применения правила. Итак, неужели в правиле присутствует нечто скрытое?

Витгенштейн вскоре осознал, что в этом было что-то недопустимое: мы не только не можем опереться на какую-либо «сущность» вещей для обоснования того или иного «грамматического» правила, но и не можем предположить наличие чего-то в правиле, что должно обосновать необходимость следовать ему определенным образом.

Начиная со второй половины 1930-х годов Витгенштейн предпринимал неоднократные попытки объяснить, что по-настоящему возможно доказать лишь то, что наши действия в тех или иных обстоятельствах соответствуют правилу, которому мы, по нашим *словам*, следуем. Если мы попросим кого-нибудь: «Продолжи последовательность n , $n + 2$, $(n + 2) + 2$ и т. д.», то, когда этот человек напишет 1000, 1004, 1008..., будет бесполезно возмущаться и обвинять его в том, что после 1000 он перестал следовать правилу, поскольку он сможет всегда найти свою интер-

претацию правила, которая «обосновывает» его поступок. Возможно, в его понимании нужно было составлять последовательность, прибавляя к каждому числу 2 до 1000, а после 1000 — 4 и т. д. Тогда мы скажем, что он нас не так понял. Но почему мы должны отдавать предпочтение *нашей* интерпретации правила, а не его? Трудность состоит в том, что мы не сказали ему: «Пиши 2, 4, 6, 8... 1000, 1002, 1004...», но дали ему распоряжение написать последовательность чисел согласно определенному правилу (+ 2). Его интерпретация этого правила кажется нам «ошибочной» лишь потому, что мы бы все написали 1002, 1004, 1006 и т. п., но в этом заключается нечто, что нельзя в полной мере объяснить *теоретически*. Итак, факт нашего согласия при следовании тому или иному правилу не зависит от нашего согласия касательно определенного представления о том, что нам нужно сделать.

Но если все что угодно может считаться применением правила, исходя из интерпретации, которую мы всегда способны дать, то на каком основании мы утверждаем, что верно применили правило? На этот вопрос нет окончательного ответа, остается лишь сказать: «просто я так делаю»¹. В некотором смысле мы вновь оказываемся в заколдованном круге: если меня спросят, почему я пишу 24 после 22, я тут же сошлюсь на

¹ Витгенштейн Л. Философские исследования, § 217.

правило, которому якобы следую, но если меня спросят, что означает «следовать правилу „+ 2“», я непременно скажу, что это означает, *например*, писать 24 после 22.

Мы, в целом, «знаем», что означает следовать правилу, потому что умеем это делать; нас «выдрессировали» следовать правилам, причем полученная нами выучка имеет свои особенности. Школьный учитель говорит мне: «Запиши последовательность чисел, прибавляя к каждому из них 2»; я пишу: «2, 4, 6, 9, 11...» — он тут же поправляет меня: «Нет, ты *должен* был написать не это». Одна из особенностей подобного обучения состоит в том, что критерием верного применения правила служит соответствие полученного результата тому результату, который, по словам учителя, мы *должны* были получить; именно этот результат, которого мы *должны* достигнуть, указывает на то, что мы хорошо применили правило, а не на то, что мы делаем. Если у школьника получился неверный результат, значит, он *совершенно не* следовал правилу, тогда как в отношении начинающего столяра, сооружающего стол, можно сказать, что он сооружает именно стол, даже если результат его работы будет неудовлетворительным. В более широком плане изучение языка — это по сути постижение того, что значит следовать правилу.

Мы достигли момента, когда можно перейти от теории к практике. Следование правилу — это

уже действие, а не думание. Оно входит в то, что Витгенштейн иногда называет «естественной историей» человеческого рода и что можно лишь констатировать: мы умеем договариваться между собой относительно верного применения правила, это не требует обоснования, которое, впрочем, дать невозможно. Основанием для этого служит факт того, что повседневная жизнь возможна и что нас связывает общий язык; как пишет Витгенштейн:

«В спорах (например, среди математиков) нельзя найти ответа на вопрос о том, соблюдено было правило или нет... Это является составной частью каркаса, на базе которого функционирует наш язык... „Итак, вы говорите, что согласием людей решается, что верно, а что неверно?“ Верным или неверным является то, что говорят люди; а люди достигают согласия в отношении языка. Это согласие не мнений, но формы жизни»¹.

То, в чем мы «согласны», есть именно то, что мы можем лишь пытаться показать, но не обсуждать.

¹ Витгенштейн Л. Философские исследования, § 240–241.

V

**«НУЖНО
МЕНЯТЬ
САМУ
ЖИЗНЬ»¹**

¹ *Wittgenstein L. Remarques Mêlées*, trad. G. Granel, Mauvezin: T.E.R, 1984.

Несмотря на то что Витгенштейн ушел из жизни более шестидесяти лет назад, интерес исследователей к его творчеству со временем только усиливается. В чем здесь причина? Почему ему посвящается такое количество толкований и комментариев?

Вначале скажем несколько слов о значении его вклада в философию XX века. В связи с этим нельзя не упомянуть об одном особом обстоятельстве, а именно — пропасти, образовавшейся в начале XX века между способом «философствования», принятым в англосаксонских странах, и тем, что был распространен на материке, особенно в Германии и Франции.

Принято считать, что особый стиль англосаксонской философии сформировался под влиянием произошедшего в ней «лингвистического поворота», последствия которого не ощущались на материке по крайней мере вплоть до последних лет. Что тут можно сказать? Достаточно вспомнить, что говорилось выше о важности для философии новой логики, созданной Фреге и Расселом. Предложив новый логический анализ

языка, они вместе с тем показали, что многие традиционные философские проблемы возникли из-за неправильного понимания того, что Витгенштейн назвал в «Трактате» «логикой нашего языка». Перед тем как решать эти проблемы, нужно было сначала выяснить, что в действительности означали предложения, их выражавшие. Поэтому проблема значения становилась главенствующей в философии. Именно Рассел первым изложил причины для подобного подхода к философским проблемам (о котором мы упоминали ранее) в небольшой статье «On denoting», опубликованной в 1905 году. Собственно говоря, Фреге, как и Рассел, показал (или думал, что показал), как благодаря этому можно решать сложные вопросы философии математики.

Однако именно «Трактат» Витгенштейна придал особую важность подходу, выведившему на первый план проблему значения. В этом смысле он явился одним из основных источников вдохновения для членов «Венского кружка» в 1920–30-е годы. Вот как Мориц Шлик — «душа» этого кружка — охарактеризовал Витгенштена:

«Думаю, первым, кто жил (истинная функция философии) с абсолютной ясностью, был Л. Витгенштейн, и он выразил ее предельно точно. В своем „Логико-философском трактате“ он объявил: „цель философии — логическое прояснение мыслей. Философия — не теория, а деятельность. От философии следует ожидать не «фи-

лософских предложений», а прояснения предложений»¹.

Приход к власти в Австрии Энгельберта Дольфуса в 1934 году вследствие гражданской войны в этой стране, а также все более возрастающая угроза со стороны нацистского режима в Германии вынудили большую часть членов «Венского кружка», придерживавшихся левых взглядов, уехать за границу. Некоторые из них — например, Рудольф Карнап — в итоге обосновались в США, другие — как Фридрих Вайсман — нашли убежище в Великобритании. Так логический позитивизм распространился по всем англосаксонским странам, где был ведущим философским течением вплоть до 1960-х годов. Разумеется, взгляды членов кружка и автора «Трактата» далеко не во всем совпадали, да и внутри самого кружка отсутствовало полное единомыслие. Тем не менее многие положения «Трактата» встречаются в работах представителей логического позитивизма:

— смысл предложения состоит в методе его верификации, что является продолжением «условно-истинностной» концепции смысла, изложенной в «Трактате»;

— предложения логики и математики не являются предложениями в привычном смысле,

¹ *Schlick M.* The future of Philosophy // *Philosophical Papers*, vol. II, Vienna Circle Collection, Dordrecht: D.Reidel P.C. P. 172.

а их истинность зависит от значения их элементов;

— истинными являются только естественно-научные предложения;

— грамматика обычного языка логически не-совершенна;

— предложения метафизики бессмысленны (а не только ложны), и т. д.

С чисто логической точки зрения тезис о том, что логические предложения являются тавтологиями, а значит, не истинны в обычном смысле слова, явил собой удачный ответ на вопрос о природе этих предложений, по крайней мере в том, что касается законов логики предложений. «Трактат» способствовал широкому применению в этой области «таблиц истинности» в представленном выше виде. В более общем плане мы обязаны Витгенштейну окончательной формулировкой принципа «истинностной функциональности». Однако идея о том, что общие предложения (вроде: для любого x , $f(x)$, существует по крайней мере один x , такой, что $f(x)$) являются лишь скрытыми истинностными функциями, с трудом выдерживает критику и представляет собой один из серьезных недостатков логики «Трактата». Вообще мысль о том, что мы должны выявлять заранее и раз и навсегда все логические законы или, как часто повторял Витгенштейн, что «в логике нет сюрпризов», также является неверной. Действительно, в 1930-е годы

было установлено, что для логики высказываний, или, как еще говорят, для исчисления предикатов, отсутствует метод резолюции; это означает, что применительно к некоей формуле исчисления предикатов, записанной с помощью символов, о коих неоднократно упоминалось ранее, не существует метода, который бы позволял *всегда* определять за конечное число шагов, идет ли речь о логическом законе или нет. Зато подобный метод существует для исчисления высказываний, что *a posteriori* объясняет особую роль, которую ему отводил Витгенштейн.

Кроме того, Витгенштейн II занимает важное место в становлении англосаксонской аналитической философии, будучи в некоторой степени основоположником так называемой философии обыденного языка, сложившейся в Оксфорде после Второй мировой войны. Одна из основных идей Витгенштейна состоит в том, что для выявления смысла языкового выражения необходимо исследовать способ его употребления в языке. Как уже отмечалось, деятельность философа состоит в возвращении слов от их философского употребления к повседневному и в объяснении причины философских проблем, которая кроется в ошибочном понимании «грамматики» этих слов. Подобный подход к философским проблемам встречается в работах таких философов, как Гилберт Райл, Джон Уиздом и Джон Остин. Поэтому можно считать, что Вит-

генштейн II отчасти способствовал появлению у этой философской школы интереса к языку в его обыденном употреблении, так же как Витгенштейн I в свое время оказал сильное влияние на выдвигание на первый план важности создания «логически совершенного» языка, на коем так настаивали логические позитивисты из «Венского кружка».

Позднее, в 1970-е годы, исходя из некоторых витгенштейновских замечаний касательно оснований математики и языка, Майкл Даммит выдвинул оригинальную позицию «антиреализма», которая многие годы служит темой многочисленных работ в англосаксонской философии. В свою очередь, выдающийся финский логик и философ Яакко Хинтиikka разработал особую семантику для логики предикатов, основанную на концепции «языковых игр» Витгенштейна. Хинтиikka также написал несколько монографий, посвященных Витгенштейну и его философии.

Помимо этих общих тем в поздней философии Витгенштейна содержится целый ряд более конкретных концепций, которых мы вкратце коснулись в этой книге и которые по сей день вызывают дискуссии и споры. Одна из таких концепций — невозможность персонального языка, то есть невозможность частным образом наделять значениями употребляемые нами слова; с этим тесно связана идея о невозможности обосновать, верно мы следовали правилу или нет. Ана-

логичным образом Витгенштейн поставил под сомнение всю теорию значения, если понимать под ней попытку показать некую сущность, которая должна являть собой то, что значат слова разных языков.

Как указывалось выше, в сфере философии математики Витгенштейну пришлось разработать концепцию антропологизма, которая вначале была признана упрощенной, однако затем вновь стала для него предметом обсуждения. Также в рамках дискуссий, посвященных развитию «когнитивных наук», он вернулся к некоторым своим соображениям по поводу философии психологии. Можно было бы еще долго перечислять темы, затронутые Витгенштейном в поздний период его творчества, касающиеся вопросов, актуальность которых сохраняется и по сей день. Однако стоит отметить, что речь идет о темах, которые рассматриваются преимущественно в современной англосаксонской философии.

Итак, отойдя от конкретных вопросов, попытаемся очертить контур философии Витгенштейна, дабы лучше понять, в чем заключается ее важность для современной философии, а также то обаяние, которое она имеет для некоторых.

Из всего вышеизложенного следует, что его воззрения вписываются в общую тенденцию современной философии, состоящую в критике классической философии, уничижительно называемой метафизикой, и в отказе от нее. С точ-

ки зрения Витгенштейна, эта критика прежде всего должна облекаться в форму предостережений от попыток поиска оснований и обоснований для таких разных вещей, как математика, некоторые «верования» (например, что существует внешний мир или что я не могу почувствовать, как болит зуб у моего соседа), а также верное следование правилу или сознательное использование того или иного слова или выражения, и т. д. Типичная философская позиция, которую отвергает Витгенштейн, характеризуется вопросом, при каком условии становится возможным то, что реально. «Все теории, которые говорят: “должно быть так, иначе мы не сможем философствовать” или “иначе мы не сможем жить”, должны неизбежно исчезнуть», — написал Витгенштейн в своем дневнике еще в 1915 году¹, а в 1943–1944 годах внес следующее уточнение: «...наша болезнь состоит в желании объяснять»².

Вновь возьмем пример из области математики. Нам известно, что математики легко приходят к согласию относительно того, что они считают убедительным доказательством или точным расчетом, хотя и то и другое не является

¹ *Wittgenstein L. Carnets, 1914–1916*, trad. G.-G. Granger, Paris : Gallimard, 1971. P. 94.

² *Wittgenstein L. Remarques sur les Fondements des Mathématiques*, trad. M.-A. Lescourret, Paris : Gallimard, 1961. VI, § 31.

осязаемым, то есть принадлежащим к миру вещей, с которым мы привыкли сообразовываться. Не означает ли это, что в действительности они говорят о сущностях, пусть и неосязаемых, но обладающих куда большей реальностью, чем те, что познаются осязательно? Быть может, мы должны предположить существование подобных идеальных сущностей, если желаем утверждать, что математические трактаты не являются лишь романами, повествующими о приключениях комплексных чисел и дифференциального многообразия? В отсутствие подобного основания как можно быть уверенным в том, что наша математика является «правильной» математикой, а наш метод вычислений — «правильным» методом вычислений и т. п.? Вот один из типичных вопросов, которые встают перед философом, пребывающим в поисках основания, — вопрос, который Витгенштейн пытается предупредить: к чему задаваться ненужными вопросами, раз мы видим, что математики потихоньку делают свое дело, не перерезая друг другу глоток?

«Терапия», назначенная Витгенштейном, разумеется, не ограничивается такого рода замечаниями — некоторые ее аспекты мы уже осветили выше.

Как отмечалось, Витгенштейн постоянно возвращается к идее, составляющей главное положение его философии, согласно которой мы

можем понять друг друга, начать разговаривать о том о сем, только заблаговременно договорившись в отношении ряда суждений и способов действия, которые мы не можем поставить под сомнение или обсуждать, не оказавшись при этом в заколдованном круге.

Данное положение, выраженное таким образом, по всей видимости, ведет напрямик к двум порожденным философами чудовищам, которыми они пугают друг друга, а именно — релятивизму и его младшему брату — скептицизму. Не относятся ли концепции, предлагаемые Витгенштейном, к культурному релятивизму, согласно которому мы находимся в плену у «форм жизни» и «языковых игр», которые определяют то, что может быть сказано осмысленно? Разве мы не должны признать: то, что мы считаем верным, зависит от нашего способа играть в определенную игру — «игру в верное и в ошибочное», в которой нет никакого особого достоинства?

Однако в витгенштейновской терапии странным образом ощущается присутствие идей, совершенно противоположных вышеизложенным: что нам нужно признать, так это то, что нельзя сомневаться во всем и что то, на что мы полагаемся, не является менее надежным в силу своей необоснованности в обычном смысле этого слова. По поводу способов употребления языка Витгенштейн пишет следующее:

«Употреблять слово без обоснования — не значит употреблять его неправильно»¹.

В определенном смысле именно тот, кто не признает «основание, которое перед нами», и старается подкрепить его доводами, делает его сомнительным: то, что в нашем понимании играет роль нормы описания, ориентира, по которому мы судим о тех или иных вещах, уже в силу одного этого «освобождено от сомнения», и пытаться обосновать это значит поступать так, словно оно остается сомнительным.

Значение терапии, предложенной Витгенштейном, состоит еще и в том, что она, пожалуй, призывает нас к скромности: признание существования правил, руководящих повседневным словоупотреблением, о которых невозможно говорить осмысленно и которые, следовательно, нельзя обосновать — не повлияв, к примеру, на «необходимый» характер предложений, в которых выражаются эти правила, — означает наличие *границ* того, что можно попытаться объяснить или обосновать. Речь идет не о границах, которые мы можем провести снаружи, но о тех, которые мы внутренне ощущаем, обреченно констатируя, что поиск основания привел нас к бес-

¹ Wittgenstein L. Remarques sur les Fondements des Mathématiques, trad. M.-A. Lescourret, Paris : Gallimard, 1961. VI, § 40.

смысле; точнее, к формулировке трюизмов, отрицать которые фактически не имеет никакого смысла! В этом плане, как отмечалось выше, тема произвольности «грамматики» является вовсе не выражением одной из форм релятивизма, но указанием на то, что относящееся к «грамматическому» не подлежит оспариванию в том смысле, что, во-первых, мы высказываем его как утверждение, посредством которого хотим закрыть дискуссию, а во-вторых, что продолжать дискуссию, по сути, бессмысленно. Факт того, что наши обоснования иссякли, является лишь платой за совершенную необходимость того, в чем мы согласны друг с другом и на основе чего можем вступать во взаимное общение.

В то же время характер второго этапа эволюции философии Витгенштейна обусловлен не столько тем, что комментатор склонен вычленять из нее в виде тезисов наподобие «произвольность грамматики», но и тем фактом, что его описательный и афористичный стиль изложения пытается приноровиться к особому статусу того, о чем он желает свидетельствовать, а именно — о предложениях, которые «освобождены от сомнения; они словно петли, на которых вращаются вопросы [которые мы себе задаем] и [наши сомнения]»¹.

¹ *Wittgenstein L. De la Certitude*, trad. G. Durand, Paris : Gallimard, 1976. § 341 (Культура и ценность. О достоверности / Пер. Л. Добросельского. М.: Аст; Астрель, 2010).

Недостаточно просто *сказать*, что то или иное утверждение является не более чем произвольной формулировкой, «лежащей в архивах нашего языка», нужно это *показать*, а для этого — подвести читателя или слушателя к такому *видению* функционирования языка, которое позволит ему понять, какое место мы отводим этому утверждению и какой ролью его наделяем. Этого невозможно достичь при помощи обычной аргументации, поэтому Витгенштейн с большим или меньшим успехом пытался изобрести новый стиль философствования, который не нарушает статус «грамматического». Разъяснения, которые пытается дать Витгенштейн, не составляют теорию, в которой четко изложенные тезисы были бы расположены в строгой последовательности; ничто так не противоречит его философии, как попытки вывести из нее «теорию значения», или «теорию математики», или какую-либо иную теорию, хотя философия в традиционном смысле слова вечно пытается это делать в силу присущего ей недостатка, о котором не перестает предупреждать Витгенштейн. Между прочим, это позволяет понять, почему философию Витгенштейна II так сложно изложить, не исказив ее содержания, в отличие от философии Декарта или Канта.

Вот как Витгенштейн описывал свою работу студентам:

«Я хочу отправить вас в путешествие в некую страну. Я постараюсь доказать, что философские проблемы математики, как и прочие проблемы, возникают из-за того, что мы находимся в чужом городе и не знаем, куда нам идти. Поэтому нам необходимо изучить местность, перемещаясь из одного места города в другое, из другого в третье, а из третьего в четвертое и так далее... [...] Хороший гид заставит вас пройти по каждой дороге не одну сотню раз. И так же, как он будет ежедневно показывать вам новые улицы, я буду показывать вам новые слова»¹.

В конечном счете, как видно из всего вышеизложенного, своеобразие Витгенштейна во многом заключается в его особом подходе к занятиям философией, целью которых он считал не разработку какой-либо теории, но изменение взгляда на вещи и даже изменение жизни. Среди его дневниковых записей довольно общего характера, опубликованных под названием «Дневниковые записи разных лет», есть и такая:

«Один из уроков христианства, насколько я могу судить, состоит в том, что все правильные учения бесполезны. Менять нужно саму жизнь (или направление жизни)»².

¹ Wittgenstein L. Cours sur les Fondements des Mathématiques (1939), trad. E. Rigal (éd. bilingue), Mauvezin: T.E.R., 1995. P. 44.

² Wittgenstein L. Remarques Mêlées. P. 65

Чуть ниже он добавляет:

«Хочу ли я, чтобы моя работа была продолжена другими, сильнее, нежели изменения образа жизни, вследствие которого все эти вопросы станут ненужными, — это остается для меня неясным»¹.

Философская путаница и ошибки по существу не относятся к теории и потому не являются по-настоящему опровержимыми. Они обусловлены определенным повиновением языку, который «приготовил для всех одни и те же ловушки» — пишет Витгенштейн, сравнивавший эти «ловушки» с «лабиринтом ложных дорог, в котором легко заблудиться», и добавляет:

«Итак, мы видим людей, идущих один за другим по одним и тем же дорогам, и знаем заранее, где они собьются с пути, продолжая идти вперед, не заметив развилки и т. д. Поэтому в начале каждой из ложных дорог я должен поставить указатели, которые помогут им преодолеть опасные места»².

Таким образом, в течение более двадцати лет Витгенштейн был гидом по территории языка. Он непрестанно искал верные пути в этой зага-

¹ Wittgenstein L. Remarques Mêlées. P. 74.

² Ibid. P. 28.

дочной и крайне причудливой стране, в которой легко можно заплутать и впасть в заблуждение. Именно этой постоянной опасности необходимо противостоять, если мы хотим «иметь ясное представление» о значении того, что говорим. Это требование ясности касается прежде всего философов, которые, по словам Витгенштейна, ведут себя по отношению к языку, словно «дикари»¹, и именно с мыслью о них и о их проблемах работал Витгенштейн. Две ключевые темы, две важные области, которые он исследовал в поздний период своего творчества: философия математики и психологии — имеют особенно благоприятные условия для возникновения всякого рода путаницы. Это исследование в соответствии с требованием придерживаться лишь описания языковой ситуации принимает форму скопления замечаний, напоминающих, в каких обстоятельствах, с какой целью, для чего мы используем то или иное слово или выражение. Задача остается прежней: вернуть слова от метафизического к их повседневному употреблению. Поэтому эти замечания зачастую отличаются удивительной простотой, а то и обескураживающей банальностью. Ведь напомнить нужно о самом что ни на есть банальном и столь очевидном, что перестаешь это замечать.

¹ Витгенштейн Л. Философские исследования, § 195.

Как ни странно, это не облегчает чтение витгенштейновских текстов, поскольку с первого раза редко удается понять, к чему он клонит; с этой трудностью сталкивался и сам Витгенштейн, который именно по этой причине отложил завершение своей работы на неопределенный срок.

И последнее. Творчество Витгенштейна было направлено на ликвидацию ложной философской глубины, иллюзии глубины. Это касается не только философии в узком смысле слова, но всех нас, с легкостью формулирующих высказывания, которые кажутся нам понятными, в то время как они лишены всякого определенного смысла. В этом отношении философия, согласно Витгенштейну, становится «работой над собой»¹.

¹ *Wittgenstein L. Remarques Mêlées. P. 26.*

СОДЕРЖАНИЕ

Хронология событий	5
Предисловие	11
I. «ПЕРЕДАЙ ИМ, ЧТО У МЕНЯ БЫЛА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ»	19
II. «ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ТРАКТАТ»: ВСТУПЛЕНИЕ	51
Что такое логика?	67
Логическая система Аристотеля	74
Последствия для метафизики	78
«Новая» логика и «критика языка»	87
Логика и грамматика	91
Новая отправная точка: предложение	100
III. «ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ТРАКТАТ»: ОБРАЗНАЯ ТЕОРИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	111
Что такое образ?	113
Предложение есть логический образ	134
Логически совершенная символика	144

«Общая форма предложения»	161
Что такое «логический закон»?	164
«Логико-философский трактат» в общих чертах	174
IV. «НАЗАД, НА ГРУБУЮ ПОЧВУ!»	189
Ошибки «Логико-философского трактата»	191
«Грамматика»	208
Произвольность грамматики	215
Язык и правила	227
V. «НУЖНО МЕНЯТЬ САМУ ЖИЗНЬ»	235

Научно-популярное издание

**Франсуа Шмитц
ВИТГЕНШТЕЙН**

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Ответственный редактор *Д. Рындин*

Художественный редактор *Б. Боева*

Корректор *Л. Иванова*

Верстка *Е. Падалки*

Подписано в печать 14.05.2019.

Формат издания 84×108^{1/32}. Усл. печ. л. 13,44.

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик».

109147, Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23.

www.ripol.ru

Отпечатано: Акционерное общество

«Т8 Издательские Технологии».

109316, Москва, Волгоградский пр., д. 42, корп. 5.

Тел.: 8 (499) 322-38-30.

www.letmeprint.ru

12+

*Знак информационной продукции согласно
Федеральному закону от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ.*